

АЛЬМАНАХ «ГЛАГОЛЬ»

Париж

Москва

2011

© Ассоциация «ГЛАГОЛЬ», Париж, 2011

© Кучково поле, 2011

Maison des Associations, 25, rue Lantiez, 75017, PARIS

Contacts: tél. +33(0)9 52 78 90 23, +33(0)6 12 79 11 98

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Главный редактор Виталий Амурский

Редакционная коллегия:

Владимир Сергеев,

Анатолий Вайнштейн,

Марк Казарновский,

Алла Сергеева

Автор обложки Римантас Дихавичюс (г. Вильнюс)

Во внутреннем оформлении альманаха использована
графика Ивана Краснобаева (г. Казань)*Издано при финансовой поддержке Г. Э. Кучкова*

ISBN 978-5-9950-0190-4

ОГЛАВЛЕНИЕ

Виталий АМУРСКИЙ О нашем альманахе	5
Марк КАЗАРНОВСКИЙ Птица. Рассказ	9
Владимир СЕРГЕЕВ Ай, да Пушкин! Заметки переводчика и новые переводы поэтических текстов.	17
Ольга НАЗАРОВА Вечеринка в Компьеньском лесу. Рассказ	23
Вадим ПЬЯНКОВ Странное время. Стихи и песни, переводы	38
Ольга КЛЯЙН Цветок моего детства. Воспоминания и стихи ...	48
Алла СЕРГЕЕВА О двугорбых лошадях и безгорбых верблюдах. Заметки о лингвистических мифах.....	54
Анатолий ВАЙНШТЕЙН Панегирик нулю. Ураган. Стихи	62
Ольга ГАЛАТ «На ткань небесного ковра...» Стихи.....	67
Анатолий ВАЙНШТЕЙН Медная пуговица. Диалог	69
Рудольф ФУРМАН Мой Париж. Стихи.....	76
Виталий АМУРСКИЙ В его стихах шептались ветры Бретани. Штрихи к портрету Э. Гильвика	84
Людмила ЛАМБОЛЕЗ Исторические фантазии	88
Леся ТЫШКОВСКАЯ «Я с деревьями буду дружить...» Стихи	95
Ирина ВОЛОДИНА Записки дилетанта	101
Людмила ЛЕКАРПЕНТЬЕ Шедевр кладбища Лаверши. По следам удивительной судьбы Эжена Сю ...	110
Сны ночлежки «Сан-Кристоф». Два рассказа ...	121
Светлана КОЧЕРГИНА «Замороженными пальцами по клавишам...» Стихи	124
Павел ГОЛУШКО «Мерцающая действительность...» Стихи	132
Ирина ВОЛОДИНА Предраассветный час, или Разговор о времени и его хранителях	136
Постскриптум «Глагола». Неувядаемая па- мять	147
Наташа ОУЭН Из приюта времени. Этюды	154
4	
Игорь ШПЫНОВ Из поэтической тетради	164
Татьяна ПОТЕМКИНА День взятия Парижа. Отрывок из повести	167
Надежда ИЛЬЕНКО Люди. Стихи... ..	179
Виктор МУШИНСКИЙ Лев Толстой и фельдмаршал Кутузов	181
Виталий АМУРСКИЙ «Мне хотелось создать фотокартины абсолю- та...» Беседа с Римантасом Дихавичюсом	198
Об авторах	218

О НАШЕМ АЛЬМАНАХЕ

Настоящий, уже третий по счету, альманах «Глаголь» свидетельствует, на мой взгляд, прежде всего о том, что тяга к русскому языку, русской культуре для его авторов обладает силой, корни которой обрубить невозможно — ни расстояниями, ни временем, ни границами.

«Глаголь» (главным редактором которого в 2009 и 2010 годах был глубоко уважаемый мной Владимир Алексеев), конечно, не претендует на какое-либо особое место в пейзаже русской литературы и культуры вне России. Об этом нет речи, как нет речи, допустим, о том, чтобы рассматривать его на равных с известными, ныне не существующими, изданиями эмиграции. Увы, в Париже, где в прошлом существовали русские издательства, выходили разные русские газеты и журналы, — на сегодняшний день нет ни одного.

Реанимировать прошлое, подражать ему не нужно. Сейчас иные времена, но времен, где ответственность за сохранение (в самых разных аспектах) национальной культуры с творческих людей снималась бы, не бывает.

Нельзя не обратить внимание на то, что авторы представленных здесь рассказов, стихов, переводов, материалов научного и культурного планов не только люди разных возрастов, жизненного и профессионального опыта, неодинаковых эстетических вкусов, но русские, живущие и во Франции, и в самой России, а также других уголках земли, вплоть до Гавайских островов! Кто-то из них давно знает об Ассоциации, эмблему которой имеет наш альманах, выступал на ее вечерах, кто-то услышал о ней недавно... Все флаги в гости!... — это радует и обнадеживает.

6

Касаясь творчества, прежде всего парижан-«глагольцев», отмечу пропитанный душевным светом рассказ Марка Казарновского «Птица», замечательные, на мой взгляд, стихи Леси Тышковской, Анатолия Вайнштейна... Не сомневаюсь, что для тех, кто интересуется искусством перевода, будет интересно познакомиться не только с новыми работами Владимира Сергеева, но также с его размышлениями о проблемах, которые приходится подчас решать мастеру, ищущему равновесие между оригиналом и его дубликатом в иной языковой культуре. Также, уверен, найдут для себя немало нового и любопытного читатели статьи «О двугорбых лошадях и безгорбых верблюдах», в которой многие годы плодотворно работающая в области языковедения Алла Сергеева делится с нами новыми интересными, подчас неожиданными, наблюдениями об этимологии русских слов и выражений, выросших на французской почве... Со своей стороны, я уделил внимание не очень хорошо известному русскому читателю, но по-настоящему большому французскому поэту XX века Эжену Гильвику, а также литовскому фотографу и художнику Римантасу Дихавичюсу, который выполнил обложки для нашего альманаха... Ну, а, условно говоря, гости «Глагола» — чем радуют они? «Мой Париж» — пишет бывший ленинградец, живущий теперь в США, поэт Рудольф Фурман. Париж, в самом деле, уже давно стал для него источником вдохновения, местом, где живут друзья, где беззвучная лирика архитектуры сливается с лирикой нешумных дождей... Несколько иной, более энергичный, праздничный, но не менее «свой» Париж у Татьяны Потемкиной из Тюмени... А вот Людмила Ламболез в своих «Исторических фантазиях» увлечена ажурными деталями европейской старины, былых нравов... Представленная здесь ее проза напоминает, я бы сказал, искусство словесного вязания... Игорь Шпы-

нов, профессиональный дипломат, выступает со стихами, которые в равной мере можно считать и песнями, ибо (вне службы) он — бард московской закалки, а барды, как известно, не только поэты, но и исполнители собственных текстов... Главное, впрочем, в том — что его волнует! Это — Россия, мысли о ней, живая ее история ее, отражающаяся в судьбах разных людей... Известный ученый-москвич Виктор Мушинский любезно предоставил нам странички, касающиеся исторических аспектов в подходе Льва Толстого к французской теме, в частности в романе «Война и мир»...

Франция — неисчерпаема для тех, кто стремится познать ее. Но если для многих она (пользуясь известной фразой Хэмингуэя, обращенной к Парижу) «праздник, который всегда с тобой», то — не для всех. Пронзительны по-своему рассказы Людмилы Лекарпентье

7

«Сны ночлежки «Сан-Кристоф», в которых она знакомит читателя с теми (не парижскими, но существующими и в Париже) реалиями, которые зачастую просто неведомы туристам, а подчас даже тем, кто живет здесь в условиях благоприятных. Тем не менее, творчество нашей соотечественницы, обосновавшейся в Анси, не ограничивается прозой, почерпнутой в собственном жизненном опыте. Людмила — внимательный и чуткий беллетрист-историк, наглядное свидетельство чему ее рассказ об удивительной жизни и загадочной смерти автора «Агасфера» и «Парижских тайн» Эжена Сю...

Несколько слов об упомянутых выше Гавайских островах...

Разумеется, этот экзотический уголок земли (по меньшей мере, представляющийся таким издавна) далек от Парижа, но — как замечательно, что живущая там наша соотечественница Наташа Оуэн, которая нередко бывает тут, во Франции, нашла «Глаголь» и прислала нам свои, на мой взгляд, какие-то удивительно «акварельные» этюды и о земле, где она живет, и о том, что находит для себя тут, в старой Европе... Кстати, если оставить в стороне экзотику, я бы отметил вот что: Гавайский университет, основанный в 1907 году, является одним из самых престижных учебных заведений США, где ведется колоссальная работа по изучению и сохранению истории Сибири и Дальнего Востока России, а среди более чем трех миллионов томов книг, которые насчитывает его библиотека, собрание книг о России (самого широкого профиля, включая издания русской эмиграции в Китае и других странах Азиатского региона) приближается к 40 000 названий! Число же поступлений постоянно растет. Теперь (благодаря инициативе Наташи Оуэн) и мы все можем поздравить себя с этим — там ожидаются и будут издания «Глагола».

О концепции альманаха, который еще находится в стадии становления, развития, ибо это процесс не очень простой и отнюдь не скорый. В этом номере уже нет привычных разделов, рубрик. Это неслучайно. Мне не хотелось выстраивать его по существующим, отработанным схемам, в которых стихи принято ставить рядом со стихами, а прозу рядом с прозой и т. п. В конце-концов, подобная практика условна. Совсем не обязательно стихи одного автора выигрывают от соседства с другими стихами, с прозой их соседство подчас может быть удачнее. Рецептов и жестких правил для не академического издания нет и быть не должно. Наш «Глаголь» можно открыть в любом месте, начать чтение там, где это читателю покажется интересно. Я не назвал всех авторов, не перечислил их работ. Останавливаться на каждом отдельно смысла нет — они говорят сами за себя. Единственное, о чем еще не хотел бы забыть сообщить: при

8

формировании этого выпуска у членов редсовета мнения и оценки по тем или иным текстам не всегда сходились, но окончательные решения в итоге принимались коллегиально, с учетом тех или иных аргументов. Как главный редактор я хотел бы поблагодарить своих коллег за доброжелательность и стремление к взаимопониманию, всем авторам пожелать новых творческих успехов, наконец, выразить глубокую признательность спонсору издания.

Виталий АМУРСКИЙ,

главный редактор.

9

МАРК КАЗАРНОВСКИЙ,

Антони, Франция

ПТИЦА

Рассказ

Покупка мне удалась сразу. Я давно, еще со времени переезда во Францию, все вынашивал этот план — купить неказистый дешевый домик в глубинке, например в Нормандии, и организовать себе «Болдинскую осень» на все остальные годы. Но, конечно, вначале не удавалось. Дешево ничего нигде не продается. Запомните. Но сейчас все срослось. Как говорит моя Богом данная половина, Бог управил. Покупка прошла быстро и без сложностей. Хозяйка домика, изрядно заросшего и явно нуждающегося в твердой мужской руке (ох, как ошибся домик, как промахнулся!), оказалась русских корней. То есть, иначе просто русская. Бесхитростно мне рассказала, что родилась уже здесь. Папенька, военного корня, все время проводил в иностранном легионе, а они с маман шили себе потихоньку, да вот эту фермочку и присмотрели.

— А теперь уж я одна осталась, и пора мне в город перебираться.

Коли же силы оставлять будут, уйду в Сен-Женевьев-де-Буа, где все наши живут с миром и с миром же и упокоятся. Ну, и как мы договаривались, сударь мой, все оставляю как оно есть. Не обессудь уж меня, старею, — и хозяйка посмотрела на меня внимательно.

Да, мадам была преклонного, безусловно, возраста, но живостью обладала отменной. И каким-то очарованием. А главное — взгляд. Он у хозяйки был чист, и в глазах таилась легкая усмешка. Мол, что ты, сударь, все так глубокомысленно излагаешь. А я тебя, голубчик мой, насквозь вижу. Хочешь спрятаться здесь, в кустах, от жизни. Ан нет, не получится. А получится как Бог попустит. Вот оно как. Вот оно как. Это все мелькало в мозгах, покуда нотариус ловко раскладывал и складывал бумаги и разные купчие, а я выписывал чеки. Один — хозяйке. Другой — нотариусу.

А старушка продолжала журчать.

— Овечек я пристроила соседям. Кур отдала Вольдемару. Он живет неподалеку и курочек уважает. А уж разный там лук, помидор, огурец, да еще что — сами засохнут.

10

— Да как же так — засохнут? — активно стал я возражать хозяйке. — А я на что? Уж и полью, и присмотрю, не волнуйтесь, мадам.

— Знаю, ничего вы не предусмотрите. Потому что вижу — привезли ворох книг, бумаги да свечи. Вот и выдумываете себе девятнадцатый век. Эх, сударь мой, бросьте эту буффонаду литературную, а возьмите-ка в руки мотыгу, да пройдите грядки. Вот будет польза и даже от вас, литераторов. А то все пишут, пишут. А что — объяснить толком не могут. Вот вы, сударь, — я видел, старушка начинала горячиться, — мне толком даже ничего объяснить не могли. Что вы

пишете? И кто вы? Новеллист? Романист? Фантаст? Может вы — мастер короткого рассказа? А может — повести? А может и стихи сплетаете? И все в какой-то альманах. Ну и где он? И что он такое? И вы там кто? Может, рассыльный? — хозяйка разошлась всерьез и ввергла меня в полную растерянность. Такого нападения я не ожидал никак. Впрочем, возбуждение старушки прошло так же стремительно, как и началось. Она тяжело вздохнула и сказала вполне мирно: — Одна проблема имеется, сударь. И вовсе не лук, помидор, петрушка или флоксы. Вот она, эта проблема, — произнесла хозяйка, посмотрев на большую клетку. В ней сидела темная большая птица, по виду — ворон. Сидела тихо, и создавалось впечатление, что она внимательно прислушивалась к разговору.

— Это — мой Петруша. Ворон. Живет у меня, вернее, у нас, — хозяйка вздохнула тихонько, — уже давно. Мой внук, царствие ему небесное, его нашел. Вот он с ним и жил все время. Теперь со мной. Но в город я Петрушу никак не могу взять. И прошу вас, сударь, уж сослужите службу, не бросайте Петрушу. Я готова и цену снизить, лишь бы быть в уверенности в нем. Как вы? — спросила хозяйка в некотором волнении.

Я заверил, чтобы она не беспокоилась совершенно. Зверей я люблю. И в подтверждение показал своих зверей: кота уже лет преклонных и собаку. Все они были российского подданства и менять его не собирались. На новом месте чувствовали себя хорошо, будто так и надо — приехать во Францию.

Кот уже сидел на старинном комодике, а пес облюбовал, это он любил очень, кресло, в коем и расположился. И никто подумать не мог, что рожден он был под теплоцентральной трубой кинотеатра «Первомайский», что в Измайлове, и обречен был к безусловной гибели. Ибо мама исчезла, стоя, вероятно, была разогнана ревнителями охраны природы, а сам щенок замерзал от холода и уже даже не мог скулить. Вот такая судьба бывает. А мы всё недовольны.

И у кота похожая история. Да только не о них сейчас. А о том, что я получил подробный инструктаж, который и записал скрупулезно.

11

Когда, как и чем кормить Петрушу. Как чистить клетку. Как выпускать. И чего опасаться. Оказалось, все достаточно легко.

— Кормить чем придется. Ест все. И семечки. И хлеб. И мясные кусочки. В клетке в основном ночует. А так сидит или на спинке стула, или на фрамуге окна. Далеко не улетает, — и хозяйка вздохнула. — Еще ругается. Это его научил внук.

— Ну, а как улетит? — забеспокоился я.

— Нет, сударь мой, не улетит. Вы уж мне поверьте, — и бабушка опять тяжело вздохнула.

— Давайте-ка спать, а завтра перед отъездом я Вам все расскажу по порядку.

Петруша, видимо, чувствовал, что обсуждается его вопрос. Он подскочил к дверке клетки, без труда открыл ее, выпрыгнул на стол и внимательно всех оглядел. И кота. И собаку. И меня, конечно. Даже как-то задержал на мне взгляд. Затем неожиданно запрыгнул на плечо хозяйки и тихонько взял клювом мочку уха. Чуть звякнула сережка. Кажется, с бирюзовым камнем. Мы все затихли, а Петруша тихонько вроде бы курлыкал и тянул осторожно за мочку. Выходило вроде: «Гуу, гуу, гуу.» Хозяйка засмеялась и столкнула птицу на стол.

— Хватит приbedняться. Будешь здесь жить. Тебя уже все любят. Даже кот.

Мы все пошли спать.

* * *

Ночь прошла не так уж спокойно. Все-таки городской житель отвыкает от природы. Я, например, совершенно спокойно и беспробудно сплю под вой скорой помощи или полицейских машин... Даже в ночное время. А здесь уснуть удавалось урывками... Вначале меня будил кот. Он метался по кухне и иным комнатам. Однако мышки оказывались проворнее. За окном, в чудесном заросшем саду всю ночь кто-то ломал сучья, кряхтел, урчал, хрюкал и издавал какие-то дикие вопли. Утром хозяйка успокоила — это кабан с детьми всегда ходит вон в те рощи. Там желуди самые лучшие в округе. На мое замечание, что не лучше бы пугнуть этих бульдозерообразных хрюшек, старушка изумленно подняла руки вверх: «Да как это такое возможно, месье. Ведь это их дорожка. И уж ежели кто и мешает им, то это — мы». Собака виновато почему-то поджала хвост. Но от печенья из рук старушки не отказалась. Нет.

Мы выпили кофе, и хозяйка сказала, что, как и обещала, расскажет нам про Петрушу. И еще раз просила не бросать его.

12

— Уж ежели будет трудно, то звоните мне, я постараюсь что-нибудь сделать. Он ведь, помимо всего, отлично нас понимает. «Я в этом не сомневаюсь», — подумал я, поглядывая на птицу. Он вроде бы задремывал, но глазом меня контролировал и, мне даже показалось, однажды довольно нахально мне подмигнул.

— Так вот, как оно все было, — и хозяйка опять тихонько вздохнула. — Племянника моего звали Арнольдом Валентиновичем. Естественно, был он дворянином. И в течение многих лет делил свое жилье с вороном. Да, конечно, не только с ним. Была и девушка Верочка, хорошая. И любили они друг друга, а Петруша ревновал. Но Арнольд мой все-таки отучил ворона клевать Верочку. Хотя неприязнь осталась. Ворон вечно ворчал, а уж в обед или ужин обязательно на стул Верочки норовил посадить свою кляксу. И доволен был, когда Верочка своим платьем в его помет вляпывалась. Что смотришь, ведь был доволен? Признавайся.

Ворон на голове топорщил перья и тихонько ворчал: «Гуу».

— Ну вот. Так и жили. Но ведь мы здесь — эмигранты. И у нас, у российских, все обострено. В смысле, мы за все, мол, в ответе. Поэтому, когда немец пришел, наш Арнольд, конечно, нашел эту самую «резистанс»¹ и начал активно участвовать. Все сидели и были довольны. И в основном не так уж и плохо жили. Так нет, нужно этим нашим мальчикам быть впереди всех. Или, как мне говорили, в СССР это звалось «пионэры».

Так это и продолжалось какое-то время. То колеса у грузовиков проколют. То рельс разберут. В общем, немцы кричат: «Партизанен!» И, конечно, я понимала: добром это не кончится. А как остановить? Но беда пришла совсем с другой стороны. Стал к нам сюда, на ферму, приходить немецкий офицер. И с одного раза можно догадаться зачем. Да, да, сударь мой! Совершенно правильно. Верочка! Она же красивая. Да наших кровей, тульских. Может, сам Левушка Толстой на ее мамашу поглядывал.

А немец то конфеты, то шоколад, то папироски. Арнольд знал о визитах, даже предлагал Верочке и нам сделать полное исчезновение немецкого офицера. Но Вера была умная. Уверила Арнольда, что тогда отвечать придется всей округе. А она дома никогда с ним одна не остается. То бабушка, то есть я, то ворон.

В общем, смех ли, грех ли, а время шло. Немец, к сожалению, все более входил в чувство и, наконец, дошел до полного кипения.

Здесь все и приключилось.

¹ Соппротивление.

13

Я в огороде копаюсь, они вроде кофей пьют. Этак было часа четыре пополудни. Вдруг крик. Да такой страшный. Мужчина кричит.

Я — бегом в дом. А там картина вот такая.

У немца лицо все в крови, сидит на полу и целит в нашего ворона. А ворон — то туда, то сюда, будто понимает, что в него хотят стрелкнуть. Верочка кричит мне: «Баба, беги, прячься! А я ворона буду спасать. Как он ко мне пристал, так Петруша подлетел и аккуратно глаз ему, офицеру, и выключнул».

В общем, при мне это было. Я немцу мокрое полотенце даю, чтобы легче стало, а он возьми и опять по птице стрелять начал. В Верочку и попал. Да сразу в сердце. Вот тебе и все.

Потом покричал немного и затих. Скончался, значит. Я же с вороном то к Верочке, то к немцу. А они уже и неживые.

* * *

Хозяйка вздохнула и замолкла. И мы все сидели тихие. Даже ворон, словно в самом деле понимал, подошел к бабушке и снова тихонько взял ее за мочку уха. Тишина длилась долго.

* * *

— Ну вот, увезли немца. А Верочку немец-врач посмотрел и говорит: «Тодт, то есть смерть мгновенная, и хороните быстрее, пока следствие не наладилось». И справку выправил, что Верочка сама от немца защищалась и в глаз ему случайно попала. Он же случайно и выстрелил. От аффекта. Да более того. Наезжали разные следствия, и немецкие, и французские. И вдруг признали, что это виноват немец-офицер. И мы можем подавать апелляция на возмещение. Но я не стала. Девочку не вернешь. А деньги за смерть брать даже грешно. Чего уж там!

Только однажды ночью пришел Арнольд. Все ему рассказала. Он ворона взял и с ним сидел всю ночь. Утром пошел на кладбище, постоял у Верочки и уехал. Мне сказал, чтобы берегла ворона, он теперь нас охранять будет. И ежели что случится, то с Верочкой его и похоронить.

Но Бог миловал. Вернулся мой Арнольд, медали да кресты получил, но жил со мной бобылем. Так и помер в одночасье от сердца. И у Верочки похоронен. Вот ворон к ним и летает. Сидит там у них. И носит им кое-что, — бабка уже говорила шепотом, сторожко косясь на ворона. — Вон ведь как. Поэтому я не боюсь. Петруша не улетит.

14

Только обихаживать его немного и все. И еще — теплота ему нужна. А у тебя, сударь ты мой, она вроде даже и есть.

— Ох, кажется, уже за мной приехали. Ну, да с Богом. А вот икону я вам оставлю. Неважно, какая у вас такая конфессия, хоть папуасская. Только иконка — дело святое и вам тоже лишне не будет. Хозяйка неожиданно перекрестила меня, погладила пса, потянула за клюв Петю и начала командовать выносом ящиков, коробок, баулов и чемоданов. Вещей набралось немного. Я помогал.

* * *

И наступила тишина. Переезжающие люди знают: уже все вынесено. Хозяин на несколько минут остается один, и вот тут-то и приходит тишина. И у хозяина есть еще последняя возможность вспомнить всех, кто жил здесь, увидеть их тени и по-настоящему понять боль утрат. И в новом моем доме было тихо. И грустно. Ворон даже не вы-

ходил из клетки. Ни есть, ни пить. Как и я, переживал и берёг, очевидно, эту тишину.

* * *

Утром я проснулся уже в своем, можно сказать, доме. После кофе и кормления зверей я разложил бумаги, благо стол был крестьянский — большой, чисто выскобленный, он так и звал: «Перо к бумаге». Да не тут-то было.

Начались разборки, которые меня занимали почти полдня.

Ворон вышел из клетки утром. Пощипал мой круассан, а затем слетел на пол и медленно направился к коту. Я еще забеспокоился — не оцарапает ли его кот ненароком. Ошибся. Петя шел на кота медленно, но неотвратно. И, очевидно, кот чувствовал нешуточную угрозу. Потому что он быстро подошел к дивану и залез под него. Оставался наружу хвост, который яростно мотался во все стороны. Ворон же постоял в задумчивости немного, а затем неожиданно быстро и больно клюнул этот самый хвост. Кот завопил ужасно, поджал хвост и из-под дивана не вылезал часа два. А ворон оставил беловатую победную кляксу у дивана и отправился к собаке.

Пес мой значительных размеров и птицу как угрозу не рассматривал совершенно. Каково же было изумление пса, когда он получил болезненный удар клювом по лбу. Чтобы не терять достоинства, он ушел с кресла в угол залы, а ворон с видом совершенного удовлетворения подлетел на мой стол и стал внимательно следить, что же я пишу.

15

Тут я ему ничего прояснить не мог. Я сам иногда не понимаю, что пишу. Во всяком случае обошлось, меня он не долбанул. Но понять, кто в доме хозяин, мы трое — кот, собака и я — уяснили безусловно.

* * *

Прошло какое-то время, и жизнь в нашем доме потекла заведенным порядком. Его, этот порядок, соответственно, никто не заводил. Просто так сложилось или может кто и управил, чтобы мы вот так жили. Ворон меня, конечно, занимал. Я стал с ним разговаривать. И видел — он не только слушает. Вот так вот.

Довольно часто, раз в неделю, а то и два, Петя вылетал во двор.

Сидел на ветке и громко кричал одно и то же: «Аррно, аррно...» Я догадался, что так он зовет Арнольда Валентиновича, своего предыдущего хозяина. Иногда он исчезал и не появлялся целый день. Прилетал к вечеру, голодный, съедал все, что я ему предлагал, оглядывал строго кота и собаку и важно прыгал к себе в клетку.

Постепенно мною овладевало любопытство: где это он, наш Петруша, пропадает. Выследить его оказалось нетрудно. Однажды утром я тихонько пошел за ним и через километр увидел старое кладбище.

Туда и летел наш ворон.

Через минут двадцать, стоя за изгородью, я наблюдал следующую картину. Ворон вначале сел на крест и монотонно негромко стал произносить уже знакомое: «Аррно, аррно, аррно...» Затем слетел, походил по дорожке, положил что-то на плиту и снова водрузился на перекладину креста.

Я тихонько ушел. Подглядывать мне стало как-то неловко.

* * *

А через несколько дней я пошел на кладбище. Нашел могилу.

На плите было написано, что здесь упокоился раб Божий Арнольд Валентинович Тхоршевский и его любимая — Вера.

И еще. Я увидел на плите кучку камешков разного цвета. Вроде кто-то их приносил на могилу.

Угадайте, кто!

* * *

Прошло несколько лет. Звери живут, правда, соблюдая определенную иерархию. Я поливаю лук, зелень и помидоры. Звоню

16

хозяйке и делаю ей отчет. Петр летает на кладбище. Зовет Арнольда и возвращается всегда под вечер.

Меня он принял и по-своему уважает. Но хозяином я для него не стал.

А «Болдинской осени» не получилось. Природа здесь располагает к лени мысли и расслабленности организма. Написал всего два рассказа, да и то...

26–27/V.2010

Antony

17

ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВ,

Париж

АЙ, ДА ПУШКИН!..

(Маленькое открытие переводчика)

12 лет назад, в самый разгар юбилейной «Пушкинианы» в России, по инициативе Постоянного представительства РФ при ЮНЕСКО в Париже был объявлен конкурс на лучший перевод «Пророка» на пять официальных языков ЮНЕСКО (английский, французский, испанский, арабский, китайский) плюс почему-то на итальянский. Скорее из спортивного интереса я решил себя попробовать на этой стезе. Сознательно не читал уже существующие переводы, чтобы уберечься от чужих влияний и сохранить девственность в голове. Забегая вперед, сообщу, что лавров я не сыскал, они были отданы двум переводам из Канады. Прав оказался тот переводчик из представительства, который мне сказал, что мой перевод очень хорош, но «в силу некоторых соображений» премию я в любом случае не получу (кстати, в конкурсе на французский вместе со мной участвовали всего четыре иностранных соискателя — две канадские команды, марокканец и россиянин, и ни одного француза! — явно с рекламой конкурса не все было блестяще).

Разумеется, все свои варианты перевода я давал «пробовать на зуб» друзьям-французам русского происхождения. Первым был упрек в том, что язык моего перевода — не эпохи Пушкина. Я засел за антологии французской поэзии XVIII–XIX веков, всякие справочники по библейским сюжетам, за саму Библию на французском... И нанес на свой перевод некий слой патины.

Попутно нашел в «Пророке» у Александра Сергеевича один с налету не замечаемый парадокс. О чем и хочу поведать. Приглядитесь внимательно (выделение мое): «...Моих зениц коснулся он. Отверзлись *вещие* зеницы, как у *испуганной орлицы*...» Понимаю, что придирается к поэту, да еще классику, почти святотатство, но переводчик, увы! просто вынужден внимательно перебирать каждое слово в оригинале, чтобы найти ему точное определение. Здесь же получается (говорю только о логике и смысле, что в поэзии далеко не

18

всегда приоритеты!), что посланец Бога наделяет поэта способностью быть вещим, то есть предвидящим, предвосхищающим, все знающим наперед. Но получается, что поэт становится вещим, как... испуганная орлица? Тут я вижу сразу две нестыковки. Во-первых, орел (на худой конец орлица) в русской народной песенной и поэтической традиции

никогда не ассоциировался с мудростью. С отвагой, храбростью, гордостью — да, а также с умением видеть далеко. Орлиный глаз видит далеко, но отнюдь не предвидит судьбу. Вещий же — тот, кто знает все наперед и потому не знает страха. И тут возникает вторая нестыковка — *испуганная орлица*. Это особенно бросается в глаза еще и потому, что орел у нас как раз символизирует бесстрашие. Разумеется, наш классик искал рифму — «зеницы — орлицы» и не слишком задумывался о возможных придириках переводящих его дальних потомков.

В «Пророке» есть еще один момент, тоже о мудрости, но в другом месте и контексте. Напомню строки: «...И жало мудрыя змеи В уста замершие мои Вложил десницею кровавой...» Проверял на французском — такого понятия, как мудрый язык змеи (то есть образ змеи как символ мудрости), в здешних краях не знают. Полагаю, что этот образ к нам пришел через Кавказ из Персии и Индии. Язык змеи для французов, по их словам, скорее ассоциируется с языком... тещи! Можно еще много писать о том, как трудно находить аналогичные образы и метафоры при переводе поэзии с русского на французский. Выясняется, что наши сравнения и образы французам не всегда понятны. Так, например, первоначальный мой вариант почти буквального перевода «глаголом жечь сердца людей», у моих французских рецензоров вызывал реакцию отторжения (в смысле, ну и садист этот ваш Пушкин!). Да и вообще, многие действия посланца Бога по отношению к мятущемуся поэту (рассекание груди, вырывание языка и сердца, вложение вместо него пылающего угля) у французов вызывали легкий шок своей жестокостью. Однако это уже другая тема — тема «национального образного ряда», она наверняка заслуживает отдельного рассмотрения.

Новые поэтические переводы на французский известных русских романсов и песен

Во Франции широко известна песня французского певца Франсиса Лемарка на музыку В. Соловьева-Седого под названием «Le Temps du Muguet» (Когда цветет ландыш), французский текст

19
которой никак не соотносится со словами М. Матусовского. Предлагаемый перевод, насколько мне известно, первая поэтическая попытка исправить такую несправедливость.

Подмосковные вечера

Слова М. Матусовского (1955)

Музыка В. Соловьева-Седого

Не слышны в саду даже шорохи,

Все здесь замерло до утра.

Если б знали вы, как мне дороги

Подмосковные вечера.

Речка движется и не движется,

Вся из лунного серебра.

Песня слышится и не слышится

В эти тихие вечера.

Что ж ты милая, смотришь искоса,

Низко голову наклоня?

Трудно высказать и не высказать

Все, что на сердце у меня.

А рассвет уже все заметнее...

Так, пожалуйста, будь добра,

Не забудь и ты эти летние
Подмосковные вечера!

Les soirées pres de moscou

Paroles de M. Matoussovskii (1955),

Musique de V. Soloviov-Sedoy

Aux soirées d'été le jardin se tait

Au matin les sons reviendront

Ah ! Si vous saviez, comme

j'appréciais

Et Moscou et ses environs.

La rivière reflète le clair de lune

Elle ne bouge pas, argentée.

Il nous vient de loin, une chanson

nocturne

Par ces douces soirées d'été .

Je vois, chérie, ton regard s'aigrir

Mais pourquoi baisses-tu les yeux ?

Il est difficile de dire ou ne pas dire

Quand mon coeur n'est pas très

heureux.

On voit déjà le soleil se lever

Pour toujours nous les garderons,

Ces soirées d'été et Moscou tout près.

Je promets, nous y reviendrons.

Однозвучно гремит

колокольчик

Слова Ивана Макарова (1850?)

Музыка Александра Грилева

Однозвучно гремит колокольчик,

И дорога пылится слегка,

И уныло по ровному полю

Разливается песнь ямщика.

Un grelot sonne

si monotone

Paroles d'Ivan Makarov (1850?)

Musique d'Alexandre Grilev

Un grelot sonne si monotone,

La poussière montant sur la route,

Mon cocher d'une aire triste

chantonne

Une chanson nostalgique sans doute.

20

Столько грусти в той песне

унылой,

Столько грусти в напеве родном,

Что в душе моей хладной, остылой

Разгорелось сердце огнем.

И припомнил я ночи иные,

И родные поля, и леса,

И на очи, давно уж сухие,

Набежала, как искра, слеза.

Однозвучно звенит колокольчик,

И дорога пылится слегка.

И замолк мой ямщик, а дорога

Предо мной далека, далека...

La tristesse résonne dans la brume,

Et ce chant touche le fond de mon

coeur,
 Et mon âme si pleine d'amertume
 Se remplit de nouveau du bonheur.
 Je me suis souvenu de mes plaines,
 De me proches et de tous mes
 amours,
 Et des larmes apparaissent avec peine
 Dans mes yeux si meurtris pour
 toujours.
 Un grelot sonne si monotone,
 La poussière montant sur la route,
 Mon cocher ne chante plus et atone
 Il s'est tu dans ses rêves et ses doutes...

Гори, гори, моя

звезда...

Музыка Петра Булахова (1846)

Слова Василия Чуевского

Гори, гори, моя звезда,
 Звезда любви приветная!
 Ты у меня одна заветная,
 Другой не будет никогда.
 Сойдет ли ночь на землю ясная,
 Звезд много блещет в небесах,
 Но ты одна, моя прекрасная,
 Горишь в отрадных мне лучах.
 Звезда надежды благодатная,
 Звезда любви волшебных дней,
 Ты будешь вечно незакатная
 В душе тоскующей моей!
 Твоих лучей небесной силою
 Вся жизнь моя озарена.
 Умру ли я — ты над могилою
 Гори, гори, моя звезда!

Mon étoile, tu brilles

au cieux...

musique de Piotr Boulakhov (1846)

Paroles de Vassili Tchouievski

Mon étoile, tu brilles aux cieux
 Tu sauvegardes mon amour.
 Que tu me guides pour toujours,
 Jamais je ne trouverai mieux !
 Quand sur la terre vient la nuit,
 Les cieux scintillent des étoiles.
 Mais la plus belle dans ma vie
 Tu brilles, parfaite, sans égale.
 Étoile d'espoir de tout mon être,
 Étoile d'amour des jours magiques,
 Tu brilleras sans disparaître
 Au creux de l'âme nostalgique.
 L'éclat céleste de tes lumières
 M'éclaire pendant toute ma vie
 Après ma mort et sur ma bière
 Tu brilleras à l'infini...

21

Милая

Слова С. Герделя,

Музыка Эмиля Вальдтейфеля (1890)

Милая,
Ты услышь меня,
Под окном стою
Я с гитарой!

Припев:

Так взгляни ж на меня
Хоть один только раз,
Ярче майского дня
Чудный блеск твоих глаз!
Ночь тиха была,
Соловьи поют,
Чудный запах роз
Всюду носится...

Припев

Мы гуляем с тобой,
Луна светит на нас
И в лазурной воде
Отражается!

Припев

Ma chérie

*Paroles de S. Gerdel,
musique de E. Valdteifel (1890)*

Ma chérie,
Est-ce que tu m'entends ?
Ma guitare frémit.
Sous le balcon j'attends

Refrain:

Mais regarde- moi
Au moins une fois
Ce soir est si beau !
Pour moi brillent tes yeux !
La nuit repose,
Les oiseaux qui chantent,
Le parfum des roses
Nous deux nous enchantent

Refrain

Sur les eaux de l'étang
Brille le clair de lune.
Et l'azur se répand,
Qu'il nous porte fortune !

Refrain

Я ехала домой...

*Слова и музыка Марины Пуаре
(1901)*

Я ехала домой, душа была полна
Неясным для самой, каким-то
новым счастьем.
Казалось мне, что все с таким
участьем,
С такою ласкою глядели на меня.

En revenant chez moi...

*Paroles et musique de Maria Poiret
(1901)*

En revenant chez moi mon cœur
était rempli
D'un sentiment nouveau, étrange et
bienheureux...
Dans les regards des autres, doux et

chaleureux
 Je lisais volontiers tendresse éblouie.
 22

Я ехала домой... Двурогая луна
 Смотрела в окна скучного вагона.
 Далекий благовест заутреннего
 звона

Пел в воздухе, как нежная струна.
 Я ехала домой, я думала о вас,
 Тревожно мысль моя и путалась,
 и рвалась.
 Дремота сладкая моих коснулась
 глаз.

О, если б никогда я вновь
 не просыпалась...
 En revenant chez moi... Bicorne
 de la lune

M'accompagnait dans ce train
 monotone.

Le son des cloches matinales
 d'automne
 Etait si cristallin, qui traversait
 la brume.

En revenant chez moi... Je ne
 pensais qu'à vous,
 J'étais angoissée, perdue et sans
 défense.

Je m'endormis d'un rêve doux.
 Oh, comme je voudrais ne pas me
 réveiller...

Калинка

*Слова и музыка Ивана Ларионова
 (1860)*

Ах, под сосною, под зеленою,
 Спать положите вы меня,
 Ой, люли, люли, ой, люли, люли,
 Спать положите вы меня.
 Калинка, калинка, калинка моя,
 В саду ягода малинка, малинка моя,
 Калинка, калинка, калинка моя,
 В саду ягода малинка, малинка моя.
 Ах, красавица, душа-девица,
 Полюби же ты меня!
 Ой, люли, люли, ой, люли, люли,
 Полюби же ты меня.
 Калинка, калинка, калинка моя,
 В саду ягода малинка, малинка моя,
 Калинка, калинка, калинка моя,
 В саду ягода малинка, малинка моя.

Kalinka

*Paroles et musique d'Ivan Larionov
 (1860)*

Sous le sapin vert, sous le sapin vert
 Laissez-moi y dormir un peu
 Oy, luli, luli, oy, luli, luli,
 Laissez-moi y dormir un peu
 Kalinka, kalinka, kalinka moia
 Une baie dans mon jardin, tu es

malinka moia
 Kalinka, kalinka, kalinka moia
 Une baie dans mon jardin, tu es
 malinka moia.
 O, que tu es belle, que tu es gentille
 Dis, pourquoi donc on ne
 s'aimerait pas ?
 Oy, luli, luli, oy, luli, luli,
 Dis, pourquoi donc on ne
 s'aimerait pas ?
 Kalinka, kalinka, kalinka moia
 Une baie dans mon jardin, tu es
 malinka moia
 Kalinka, kalinka, kalinka moia
 Une baie dans mon jardin, tu es
 malinka moia.
 23

ОЛЬГА НАЗАРОВА,

Париж

ВЕЧЕРИНКА В КОМПЬЕНЬСКОМ ЛЕСУ

Рассказ

В просторной гостиной Николя, франко-русского переводчика, сидели пять славянских женщин. Дамы восхищались поданными к чаю пирожными. Всем было удобно, уютно и вкусно. Присутствие молодого свободного француза, да еще так хорошо говорящего по-русски, щекотало нервы и возбуждало фантазии различного толка. «У меня для вас есть прикольное сообщение», — объявил хозяин квартиры и скрылся на кухне. Николя был французом дальних русских кровей. Мягкие любезные манеры, спокойные интонации речи, поредение волос на макушке как свидетельство неторопливого перехода от тридцатых к сороковым годам, и, напротив, буйный рост густых черных усов, подстриженных коротким ворсом, напоминающих форму бабочки. Перед клиентами он стоял подтянутый, элегантно одетый, с бабочкой вместо галстука для придания особой торжественности момента. Издали получалось две бабочки: одна на шее, другая под носом. По-русски он говорил медленно, чисто, литературно, как, впрочем, и по-французски. В обычном общении с русскими, вне работы, француз считал необходимым вставлять мат, что выглядело пахучим полевым сорняком в букете изысканных роз. Николя был завидный жених: трудолюбивый, любезный и состоятельный. Поэтому вполне естественно, что русские эмигрантки испытывали на нем свое обаяние. В большинстве случаев он оставался любезно-нейтральным, так как его интерес к женскому полу был весьма специфичен. Он был членом мужского клуба любителей пышной женской груди. Клуб назывался «Ло-Ло», что в вольном русском переводе могло бы означать «Му-Му». Клуб насчитывал солидное количество мужчин, знающих толк в предмете своего внимания. Бесспорным считалось мнение, что обладательница груди меньше седьмого размера (100 F) уже как женщина не воспринималась и могла надеяться на, разве что, приятельские отношения. Это было

24
 теоретической базой клуба, где собрались ценители и эстеты женских форм. Азарт нелегкого поиска давал этим людям вдохновение и адреналин, а также скрашивал повседневную реальность созерцания не слишком щедрых форм их соотечественниц. Вот почему ни одна из пяти женщин не увлекала воображение Николя.

Вернувшись из кухни, он сообщил: «Мы приглашены к одному очень известному в шоу-бизнесе человеку на его дачу, на вечеринку. Дача расположена в лесу, ехать придется километров семьдесят. Я вас отвезу и буду вам там переводить». Женщины захлопали в ладоши в перемешку с ликующими междометиями и стали живо обсуждать «что одеть».

«Я сегодня синхронно переводил Мишелю, патрону популярной передачи на телевидении, он же и хозяин дома. Случайно мы разговорились о вас. Уж очень он ценит славянскую красоту. Прохвост, наверное! Но, главное, я ему проговорился, что недавно познакомился через объявление с настоящим русским сексологом. Он взволновался, сильно удивился, что такое существует, и сказал: «Привези всех». Так что, дамы, через три часа отъезжаем со мной все в одной машине, кроме Анны. Она поедет как всегда, со своим неразлучным псом на собственной тачке.»

Спустя три часа все были в сборе. Из Парижа выбирались с трудом. За городом дорога освободилась, и француз неторопливо пробирался к Компьеньским лесам.

Николя был доволен, чувствовал себя блаженно: находиться в цветнике славянских женщин, довольно привлекательных, доставляло ему эстетическое удовольствие, тем более что все они нуждались в его услугах переводчика, все были с ним любезны и стремились ублажить его ласкающими ухо фразами. Нелли, к примеру, была готова даже одарить его чем-то большим, значительным, к чему она была так легко склонна и привычна. В любом диалоге с Николя она соскальзывала с начатой фразы на язык жестов и мимики, легко читаемый всеми заинтересованными мужчинами, вздыхала и прикусывала нижнюю губу, выразительно смотрела исподлобья, делала напряженные паузы или вовсе замолкала. При этом ее поза ярко иллюстрировала конечную цель. Нелли была банально-миловидная женщина неопределенно-молодого возраста, свободу которой не обременяли ни замужество, ни подрастающий сын. При общении с собственным ребенком она впадала в его возрастную фазу до такой степени, что сыну приходилось брать на себя воспитательную роль и порою направлять Нелли на путь истинный. Это была женщина-конфетка, женщина-куколка, которую ее муж-бизнесмен баловал

и принимал такой, какая она есть, тем более что и она особенно не вдавалась в детали его жизни и бизнеса. Невинные семейные сцены она устраивала только тогда, когда кончались деньги. Все остальное время Нелли была улыбчива и открыта для свежих приключений в этой жизни. Муж часто отсутствовал по делам, Нелли иногда скучала. Приехав с семьей во Францию, она решила себя чем-то занять, тем, что требовало бы лишь начального знания языка. Она стала утверждать, что в ее руках обнаружилась лечебная сила засчет особых магнитных колебаний, еще не понятых, как следует, учеными. Нелли предлагала легкий массаж тела ее целебными руками, без касания, на расстоянии 10 см. Особый эффект этот массаж оказывал на стареющих мужчин. Они составляли основную клиентуру, звонили часто, просили назначить сеанс. В беседе по телефону они жаловались на свои болячки как то-туманно, неопределенно, затем, понизив голос до шепота, могли спросить: «А вы блондинка или брюнетка? А глаза? Какого у вас цвета глаза?» Нелли на эти мелочи не обращала никакого внимания, ее это нисколько не смущало и даже не настораживало. Она отвечала, что в ее руках заложен дар «причесывать» «растрепанные» биополя клиентов и приводить в порядок их магнитные

колебания. Сеанс начинался вполне благопристойно, в точном соответствии с протоколом. Неллин магнетизм влиял чудодейственно. Клиент исцелялся на глазах, блаженствовал, начинал бессвязно бормотать комплименты. «А не могли бы вы, доктор, помассировать страдающее место не на дистанции, а поплотнее, поближе к телу? За двойной гонорар конечно.» Нелли на подобные сюрпризы клиентов не обращала внимания, продолжая лечить, как условились, на расстоянии. Тогда у вылеченного пациента со всеми его причесанными магнитными полями возникал неожиданный прилив сил, и он, во что бы то ни стало, хотел сократить это досадное расстояние в 10 см. Финал сеанса часто не вписывался в лечебный процесс.

...Машина Николя продвигалась по безукоризненной автодороге к месту вечеринки. По обеим сторонам автотрассы стоял добротный лес, заботливо огороженный от машин. Женщины притихли, любуясь природой.

Тишину прервала Эмма, землячка Нелли: «Ох, уж мы и посмотрим на твоих французов, Николя. Говорят, что они страшные ловеласы». «Да уж, не отнять, прощелыги к ядреной фене, — отозвался Николя, радуясь своей народной вставке. — Но ты, Эмма, слишком благопристойная, это их отрезвит».

И действительно, Эмма, землячка Нелли и подруга (за неимением лучшего), была ее полной противоположностью: счастливая в

26
семейной жизни, щедро отдающая мужу и сыну все свое время, во всем слишком правильная, просто живой талмуд со всеми его заповедями в действии. Это была стройная шатенка со вздернутой верхней губой и строгими чертами лица, со своей четкой линией жизни и со своим индивидуальным пространством, куда она могла допустить или не допустить, как уж решит. Все это до момента улыбки. Как только эта женщина улыбалась, вас, понимающих, пробивал холодный пот и легкий озноб. По каким-то искривленным в пространстве чувственным каналам, приблудшим в ваше сознание, вы начинали понимать, что перед вами редкий экземпляр настоящей женщины, которая все может и которой все подвластно. Ее женственность настолько универсальна и многообразна, что вы начинаете ощущать в ней космическую энергию, и иначе, как со звездой, она уже не могла ассоциироваться, и иначе, чем с маленькой планетой, летающей вокруг этой удивительной звезды, вы не могли ассоциировать самого себя. Рядом с Эммой парадые геев с их трагическим весельем сравнимы с опадающими пустоцветами, и все это затмевалось одной ее улыбкой, и в этой улыбке можно утонуть, потеряться, раствориться или продолжить себя, потому что в ней, в этой затаенной улыбке, и хранится главный код Вселенной.

Николя решил остановиться, немного передохнуть от дороги. Он выбрал самую просторную зону придорожного отдыха с большими деревянными столами и скамейками, поставленными прямо в лесу между деревьями. Пели птицы, пахло травой и цветами, благоухало лето. Дамы прохаживались по кромке леса, разминая ноги и обмениваясь соображениями о предстоящем вечере. «Главное, чтобы твои французы, Николя, оказались бы, в виде исключения, щедрыми, — высказалась Инга, молодая брюнетка с внешностью восходящей топ-модели. — По моим сведениям они очень прижимистые, не то что наши русские парни или итальянцы». «Это верно, — отозвался Николя. — Большинство из них — жмоты, могу тебя уверить, едва ли раскошелятся даже при виде такой сногшибательной женщины, как ты». Инга имела все физические данные для карьеры международной

манекенщицы: силуэт с едва обрисованными, волнующими только знатоков и любителей формами. Суровое, со сдержанной мимикой, искусственно бледное лицо, высеченное, как бы из скалы. Удлиненные, выточенные расцветом молодости стройные формы ее тела и головокружительный рост, удовлетворивший бы любой кастинг. В школе, в России, когда Инга в четырнадцать лет вымахала на 1 м 75 см, ее не дразнили избитой фразой «девочка, достань воробушка», потому что за этим неминуемо следовала смачная оплеуха. Но при

ней регулярно распевали как бы не имеющую никакого отношения к ее росту песенку:

Изба-читальня,
сто второй этаж.

Там буги-вуги
гоняют джаз...

Родители Инги надеялись, что она вот-вот перестанет тянуться ввысь, так как в роду у них все были обыкновенного роста, но с удивлением замечали, что этого не происходит, укоряли себя в какой-то неведомой им самим родительской ошибке.

«Куда гонит? — говорил отец жене. — Замуж не возьмут! Кто такую обрабат!»

Никаких надежд на остановку роста не было. Инга ощущала себя среди сверстников одинокой, непохожей на всех и нелюбимой еще пока не догнавшими ее в росте мальчиками. Зато она обладала точным, как компьютер, умом, дальновидным и все просчитывающим, великолепно владела своими эмоциями и умела их прятать в бесстрастном выражении лица. Только в своей семье девушка чувствовала себя безмолвно любимой, такой, какая она есть. И эта безоглядная нежность давала ей силы на взлет. Только с родителями она позволяла себе ответную нежность. Так и пришлось провести отрочество с комплексом роста, досадой быть «не как все», непохожей, нестандартной. Повзрослев, Инга сделала для себя ошеломляющее открытие: ведущие топ-модели имеют схожие с ней физические данные, и там, за кордоном, ценят все нестандартное, редкое. Это ее окрылило, и она стала усиленно изучать английский и французский, кристаллизовать цель. Языковой факультет Инга закончила блестяще и была удостоена трехмесячной стажировки в Париже. Все плыло в голове, как только она представляла себя в этом городе, который, конечно же, давно изучила виртуально. Сдав экзамены в университете, сделала серию фотографий на случай кастинга, приделась на западный манер, отрепетировала ходовые диалоги на французском. Родители гордились дочкой: «Всем дала фору!» — хвастался отец за кружкой пива. В день отъезда обедали семьей, отец сурово наставлял: «Смотри, дочка, там, в Парижах, не развратничай, как все эти надушенные французы, соблюдай себя! А то они там падкие на русскую диковинку, рот пораскроют и давай им ляmur». Мать подошла к дочери, стиснула ее крепко, прижалась к ней всем телом, доходя ей только до подмышек, заплакала в голос и сказала тихо: «Малышка ты моя ненаглядная, как от сердца тебя отрываю, когда-нибудь, а

вернись!» Мать чувствовала, что дочь уезжает надолго, что она все сделает, чтобы остаться за кордоном. Инга была благодарна родителям за их любовь и преданность, но мыслями уже витала в своей новой жизни, далеко от ее родного города, приютившегося на берегу Черного моря. Она часто отождествляла себя с одиноким маяком, который своим холодным светом пробивает любые пространства. Потерянные в пучине моря корабли нуждаются в его живительном

свете. Маяк может встретить, навести на нужное направление, спасти. Корабли плывут на этот магический свет. И может быть какой-нибудь солидный корабль приплывет на манящий свет и останется у маяка навсегда.

Приехав во Францию, Инга сразу же ощутила разницу производимого ею впечатления: на нее смотрели с восхищением и завистью, она получала море комплиментов, которых никогда не слышала в России, в своем небольшом приморском городке, ее просили позировать на фотосеансах, приглашали участвовать в рекламе, работать на подиуме, считали за честь с ней поужинать. Она производила ошеломляющее впечатление своей внешностью, той внешностью, от которой так раньше страдала. «Почему?» — спрашивала она себя. И отвечала: «Потому что моя внешность ИМ может принести много денег. Все, что приносит деньги, здесь, на Западе, вызывает поклонение и восхищение. Что ж, пусть будет внешность моим козырем, если они не хотят замечать других моих достоинств!»

На вечеринку Инга решила одеть струящуюся накидку, таинственно скрывающую ее величественный силуэт. По особому замыслу, в ответственные моменты накидка должна была как бы нечаянно распахиваться и обнажать ее стройные модные косточки, а почему бы и нет, если эти чокнутые воротилы моды только в этих редкостных пропорциях и видят красоту, и им безразлично, что она разговаривает на трех языках, что она похожа на маяк в океане и что она проницательна, как ясновидящая. Нет, им подавай эти переросшие кости... Да нате!

...Женщины расползлись на деревянных скамейках, наслаждаясь природой.

«Инга, — прервал тишину Николя, — только от одного показа твоей экстравагантной внешности французы обалдеют или, лучше сказать (читать только первые буквы): Оксана, Хesia, Уля, Ева, Юля, Тоня. Николя медленно и со смаком произнес неприличное слово. Он писал диссертацию на тему: «Русский мат как выхлопной газ сильной эмоции» и очень любил попрактиковаться таким образом, ощущая себя «почти русским».

29

«В присутствии женщин матом выражаться не принято, — встала Анна, поглаживая огромного пса, лежащего у его ног. — А то нам с Мухтаром это может не понравиться». Собака при этом грозно подняла уши и хвост, обнажив мощные клыки.

«Я работаю над словарным запасом моей диссертации, — невинно отпарировал Николя. — Дамы, занимайте свои места и в путь. А ты, Анна, как всегда, поедешь в своей машине наедине с твоим привередливым зверем, который, как выяснилось, не переносит русского мата. Поезжайте за мной, я указываю дорогу».

Анна и Николя сотрудничали по работе и были хорошими приятелями. Анна — вполне французского вида женщина, похожая на статуэтку, изящная, томная брюнетка с прекрасным грустным лицом, ясными черными глазами, немного за сорок. Никакие возрастные признаки ее не портили. Она, как бы нечаянно, одаривала пространство эротическим звучанием. А между тем за ней тянулся длинный шлейф трудно вообразимых драматических событий.

В двадцать с небольшим лет в Москве она вышла замуж за африканского студента из Университета имени Патриса Лумумбы, вскоре родила очаровательного мальчика. После окончания учебы молодые решили повидать родственников мужа, живущих в Париже. Анна так очаровалась Францией, что про жизнь в Африке, куда ее звал

законный муж, уже не хотела и слышать.

Муж отвез ребенка в Конго для знакомства с бабушкой. С тех пор Анна не видела ни мужа, ни ребенка. В те времена она была обжигающе красива. И если в ее Русской стране красота как бы замалчивалась, игнорировалась, считалось, что только духовная красота достойна поклонения, то во Франции эта маленькая брюнетка с точеными чертами лица вызывала экстаз даже у пресыщенных, много повидавших и ценивших красоту французов. Ее видимая меланхолия по отнятому ребенку добавляла ей шарм. Она была натурально, без вульгарности эротична в своем таинственном немногословии. Тембр ее голоса с потусторонней окраской на длинновибрирующих частотах приводил мужчин в трепет. Вокруг нее был ажиотаж, ее добивались, ей сыпались в руки крупные чеки просто за то, что она есть, за право быть рядом с ней и, может быть, соприкоснуться с этой красотой. За два года жизни в Париже Анна превратилась в «светскую львицу», одевалась соответственно последним веяниям моды, занимаясь крупными поставками черной икры. Все это время она боролась за свое право вернуть украденного ребенка, но везде натывалась на какие то невидимые придуманные барьеры. Анну одолевала меланхолия, и она пыталась забыться в эротических играх, тем более что вокруг

30
нее был всегда рой влюбленных безумцев. И это ее безразличие к деньгам как раз создавало этот лихорадочный аукцион среди очень и очень богатых людей. Анна же неотступно думала о своем сыне, атаковала юстицию, судилась, но все было напрасно. Африканские законы, весьма своеобразные, были на стороне мужчины.

Однажды Анна получила телеграмму из Москвы: «Скончалась бабушка, выезжай срочно на похороны». Она выехала. В Московском аэропорту на нее надели наручники и посадили в тюрьму, обвинив в спекуляции черной икрой. Только спустя восемь лет ей удалось вернуться в Париж, но уже не в том блеске красоты, как раньше. Она поселилась в скромной квартирке и стала зарабатывать как переводчица. На второй день после своего совершеннолетия прилетел из Конго ее сын Александр, крупный, хорошо сложенный метис с загадочным лицом Анны, слегка матовой кожей. Юный мавр немедленно влюбился в собственную мать, носил ее на руках, подбрасывал ее легкое тело, целовал ей щеки и без конца говорил «моя мамотька», других русских слов он не знал. Анна плакала от счастья и просила у него прощенья. Александр поступил в университет и все свободное время посвящал матери. В их тесный дуэт входил пес Мухтар, который облегчал все эти годы душевное одиночество Анны.

Вот и теперь они ехали на отдельной машине вдвоем на лесную дачу Мишеля, следуя за Николя. «Ну что, Мухтар, будешь меня защищать, если придется?» — спросила Анна. Пес, занявший полностью заднее сидение, поднял морду и утвердительно рыкнул. «Хорошо, ты будешь моим телохранителем, только придется согласиться на намордник!»

Обе машины въехали в лесную зону. Все дороги оставались асфальтированными. Лес благоухал июльской щедростью, запахами травы и многоцветием. Перезвон птиц будоражил тишину. В маленьких, затянутых тиной озерах, покрытых лилиями и кувшинками, по-домашнему квакали лягушки.

«Ну все, как в России, — не выдержала Вика, — как во времена моего далекого детства, в наших лесах, на Волге».

«Скоро приедем, — отозвался Николя, — а ты, Вика, не забудь, что весь сыр-бор из-за тебя. Надеюсь, ты приготовила развлекатель-

ную программу, достойную русского сексолога, чтоб показать им где раки зимуют!»

«Я спою им под гитару две бардовские песни на хорошие стихи», — ответила Вика, женщина тридцати двух лет, скромно, но элегантно одетая, лицом напоминающая Аленушку с полотен Васнецова, только в очках. Она не любила разговаривать на тему своей

31 профессии. Ей был неприятен тот ажиотаж и смакование различного толка, которые неминуемо следовали после того, как узнавали, чем она занимается. Хотя некоторые реагировали внезапным замолканием, короткой фразой «у меня все в порядке» и торопливым уходом. Свой диплом сексолога Вика получила по воле случая : Аркадий, главный специалист по сексологии в городе, где она жила и работала, набирал сотрудников. Это был холостой мужчина 32 лет, некрасивый, носатый и волосатый, с толстыми губами и провисающим брюшком. Он питал к Вике весьма живой интерес. Она ему нравилась сочетанием романтического характера, чистоты, неразвращенности с физическими данными настоящей секс-бомбы: тонкой талией, крупной, безукоризненной формы грудью, летящими вширь бедрами, чуть полноватыми, но желанными и волнующими ногами. Аркадий хотел ее сделать секс-бомбой в действии, чтобы она разделяла все его потаенные желания, прихоти, ему хотелось ее развратить для себя. Они часто встречались на врачебных конференциях. Аркадий пытался за ней ухаживать, но Вика, все прекрасно понимая и называя его про себя «волосатым дельфином», оставалась нейтральной. Тогда Аркадий предложил ей специализацию по сексологии. Как говорится: «не мытьем, так катаньем»! Таким образом, он убивал двух зайцев: перспективу заполучить благодарную сотрудницу и, кто знает, проводить с ней какое-то время вместе. В то время Вика работала психотерапевтом в престижной клинике, и такая специализация, конечно же, открывала новые горизонты в ее карьере.

Обучение по новой профессии было захватывающе интересным , но, получив диплом, она старалась умалчивать о своем роде деятельности, так как ей не нравилась этикетка, которую на нее в связи с этим наклеивали.

Во Францию ее занесло на случайных и весьма замысловатых крыльях любви, хотя вскоре эти крылья оказались опаленными и безжизненными от противостояния страстей и событий. Без языка, без поддержки, без особых средств Вика карабкалась по отвесной скале этой новой европейской жизни с мужеством закаленного трудностями бывшего советского человека.

«Нет уж, Вика, после твоих романсиков ты им отмочи что-то такое разэдакое, знай наших !» — заметила Нелли.

«Это ты у нас специалист по практической части, — отпарировала Вика, — а я — чистый теоретик».

Вдали показалась дача Мишеля: солидный красивый дом с обширными землями, густым лесом и пасущимися лошадьми. На прилежащих открытых полянах в стиле броуновского движения, то есть

32 хаотически, беспорядочно, бегало несметное количество зайцев, точнее, разводимых кроликов. От этой резвой беготни, шныряния и от этой энергии становилось непривычно весело и забавно.

Во дворе уже стояло не менее полутора десятка машин, припарковались Николая и Анна. Вновь прибывшие вошли в дом и сразу же попали в просторный зал для праздников, где уже находилось множество гостей в процессе поглощения предложенных обслугой яств

и напитков. Николя представил хозяину дома и выборочно гостям, проявившим интерес, привезенных заморских дам, после чего все присоединились к главному общему делу — выпивать и закусывать. Гости расхаживали с бокалами в руках парами и поодиночке, вступали в беседу. Все были нарядно одеты, порою экстравагантно. Одна молодая особа имела сзади чуть ниже поясицы огромный розовый бант, похожий на пропеллер, который эффектно восполнял объем плоских ягодиц. По замыслу, видимо, он должен был отвлекать внимание. У другой дамы платье состояло из свободно висящих суровых ниток, которые при движении этой особы эффектно разъезжались в непредсказуемых местах. Многие мужчины были в разноцветных пиджаках с яркими платками на шее и в нагрудных карманах. Одна молодая особа с абсолютно необъятной грудью имела необычный макияж черно-синего цвета по типу «пришельца из космоса». Двое индийцев расхаживали босиком. Женщина в нарядном сари, с голым животом, увешанная праздничными украшениями с множеством разноцветных камней прохаживалась рядом с бородатым мужчиной в штапельной чалме, замысловато уложенной, похожей на бисквитный торт, в белом удлиненном костюме не европейского покроя. Парочка смотрела безмолвно на собравшихся гостей большими теплыми, как бы застывшими от созерцания и мудрости глазами.

Звучала джазовая музыка. Все воспринималось естественно и естественно, никто ничему не удивлялся.

Нелли, Вика и Эмма не отпускали от себя Николя, рассчитывая на него как на переводчика.

Анна прогуливаясь с Мухтаром, немного скучала. Праздники такого рода были для нее привычными. Попробовала разговориться с «пришелецкой из космоса», та оказалась интересной собеседницей и к тому же гадалкой. Анна напросилась на сеанс гадания, после чего они уединились в прилежащую комнату, где на специальном столике Луи XV уже были разложены всякие диковинные вещицы для гадания, мерцали свечи, горели ароматные палочки с дурманящим запахом.

33

Инга со своим бесстрастным лицом в стиле наскального барельефа расхаживала по салону одна, в своем струящемся светло-сером платье-накидке, готовая поддержать беседу и на английском, и на французском. Около нее крутился средних лет мужчина, видимо заядлый спортсмен, одетый в велосипедное трико, обтягивающее его хорошо развитые, красивой формы ноги. Сверху на нем был очень дорогого вида с множеством маленьких пряжек и поясков английский пуловер.

«Нет тут никого, достойного моего внимания», подумала Инга.

«Почему этот гость позволяет себе расхаживать на приеме в подштанниках?» — спросила она у проходящего мимо Николя. «Выпендривается, — отозвался он, приостановившись, — хочет похвастаться своими спортивными заслугами, он заядлый велогонщик, приехал сюда за 80 километров на велосипеде, и для брюк как бы места не нашлось. И потом, его, как ты говоришь, подштанники — особые: они одеваются велогонщиками прямо на голое тело, а изнутри снабжены нежной шкурой верблюжонка, чтобы смягчить трение о велосипед на дальних расстояниях».

Инга продолжала прохаживаться в одиночестве. Она видела, как Нелли в поисках авантюры молчаливо, но выразительно переглядывалась с Аланом, похожим на племенного бычка, который без слов все

понял и радостно пригласил Нелли на быстрый танец в стиле «диско». Он танцевал вокруг нее на широко расставленных, массивных, как колонны времен барокко, ногах, давая ей понять через танец высокий накал его энергии.

Эмма сидела напротив мужчины примерно пятидесятилетнего возраста восточного типа. Они о чем-то оживленно беседовали, выпивали и закусывали. Женщина с пропеллерным бантом пыталась разделить их компанию...

По прошествии некоторого времени, когда первый голод был утолен, хозяин дома, одетый в вольно аристократическом стиле, сверкая бриллиантовым кольцом, похлопал в ладоши, прося тишины. «Дамы и господа, в моем доме среди гостей находятся пять русских особ, одна из которых любезно согласилась спеть нам русские песни под гитару, а Николая, мой друг, переведет вам их содержание. Прошу любить и жаловать». Гости оживились, захлопали. Вика взяла гитару и спела две знаменитые, проверенные на успех бардовские песни. Первую французы слушали внимательно, приглядываясь к поющей, не прекращая, впрочем, ни пить, ни закусывать. На второй песне начали слегка перешептываться, дама с бантом принялась понемногу прохаживаться, видимо, устала сидеть. Она обращала

34
внимание на производимый ею эффект. В смежном зале кто-то разговаривал и смеялся, индусы курили ароматную траву из кальяна, а гадалка предсказывала на картах судьбу Анны. Николай засмотрелся на необъятную грудь ясновидящей, похожую на два земных глобуса. «Вот это бюст! — подумал он. — В нем можно зарыться прямо с головой! Как бы не упустить такие сокровища!»

Вика решила спасти провал высокой поэзии и начала наигрывать мелодию «Калинки». На первом же куплете французы стали подпевать и приплясывать. Дама с гигантским бантом пустилась танцевать рок-н-ролл, хотя в ритм и не попадала, кое-кто попробовал пройтись вприсядку. Все это оживило атмосферу, Вика хвалили, спрашивали, нельзя ли прийти на концерт и куда приходить.

Официанты подали новую смену блюд и напитков. Изобилие было невиданным. Заиграла энергичная танцевальная музыка. Гости, закусив и выпив, пожелали размяться и потанцевать.

Нелли с новой энергией общалась с Аланом, и обоюдное конечное желание этой пары выглядело вполне очевидным.

Эмма благопристойно беседовала с египтологом, сидящем на диванчике образца Людовика XIV, около которого пристроились мать и дочь, элегантно одетые и украшенные драгоценными камнями. Они молчаливо слушали диалог Эммы с восточным человеком, иногда вставляя выражающие эмоции междометия. Эмма выспрашивала своего собеседника о фараонах и пирамидах, о стиле жизни в Египте. Мужчина оказался знатоком и любителем спиртного. Рассуждая о вине, он прихлебывал из рюмки крупными глотками и озвучивал свои впечатления о букете.

— А что пьют в России? — спросил египтолог. — Наверное, в основном водку?

— У нас холодно, вот мы и греемся, жаль, что ее надо пить, как лекарство, залпом, а не смакуя.

— И бросать рюмки за спину, через плечо? — оживились женщины. — Давайте попробуем!

Сервировщик принес бутылку водки. Эмма показала как правильно пить на выдохе, одним махом. Египтолог и мать со взрослой дочкой оказались старательными учениками. Бутылка вскоре опустела. Эмма

почти ничего не пила, увлекшись веселой игрой. Продолжали болтать о любовных похождениях богов. Через некоторое время египтолог стал медленно раскачиваться, как часовой маятник. Женщины внезапно перешли на бессвязную болтовню, встали, шатаясь, и решили сходить в туалет — проветриться, крепко держась друг за дружку.

35

Праздник приближался к апогею. Большинство гостей танцевало. Для нетанцующих подали фокусника, который развлекал своей программой всех желающих в дальнем углу салона. Там же были хозяин дома Мишель и Вика. Николя незаметно пробрался в соседнюю комнату с экзотическими гостями, где индусы, напустив ароматного дыма, изображали в танце льва и змею. Здесь же ясно-видящая «пришелица из космоса» продолжала работать с будущим и прошлым Анны. Николя запал на гадалку и не сводил взгляда с ее необъятного бюста. Анна сообщила ему, что устала, что очень скоро она с Мухтаром удалится на верхний этаж отдыхать и что там приготовлены на всех гостей матрасы на случай, если они пожелают остаться на ночь.

—Мы не собираемся ночевать, — возразил Николя, — мы скоро уедем.

—Как хотите, я от вас не завишу, у нас с Мухтаром есть транспорт, мы остаемся.

Николя намеревался собрать весь свой русский букетик воедино и договориться о времени отъезда. Эмму он нашел благопристойно сидящей напротив икающего египтолога. Проходя мимо туалета, Николя заметил неподалеку на полу двух дремлющих женщин, лежащих в счастливых блаженных позах, мать и взрослую дочь, точь в точь, как на третий день деревенской свадьбы в глубинке России. Инга оказалась жертвой общения со спортсменом в велосипедном трико. Обласканный верблужьей шкурой, он был полон желания завоевать ее благосклонность. Он издавал краткие звуки, похожие на мычание, складывая при этом пальцы в различные фигуры, видимо обозначающие слова. Ее охватило негодование. «Неужели только этот убогий человек на меня и клонет?» — подумала она. Но лицо ее сохраняло выражение непроницаемой маски и даже иногда вежливой полуулыбки. Спортсмен продолжал вычурно жестикулировать, иногда надувать щеки, похлопывать себя по груди и использовать руки, как инструмент для построения фразы. Инга чувствовала досаду, отвечала по-французски рассеянно-вежливо. «Нет здесь для меня достойного объекта, только время зря теряю», — промелькнуло у нее в голове. В этот момент ее собеседник изображал что-то летающее. Из его пантомимы вырисовывалась как бы стрекоза. «О природе рассуждает», — заметила Инга и вежливо улыбнулась. Подошедший Николя, оценив ситуацию, обратился к Инге по-русски: «Только не посылай его на три буквы (последовало озвучивание). Он очень влиятельный человек в моде». Затем он стал разговаривать со спортсменом на его языке жестов и мимики, произнося при этом четко и

36

слегка замедленно слова, которые велосипедист считывал по губам. «Полиглот», — заметила Инга про себя.

Между тем, переговорив со спортсменом, Николя радостно сообщил Инге: «У тебя есть шанс взлететь в буквальном и переносном смысле. Месяе находит твою внешность просто идеальной для топ-модели. Похоже, тебе светит заманчивая карьера. Что же касается буквального взлета, то сразу же после фейерверка за ним прилетит его частный вертолет и заберет его вместе с велосипедом в предме-

стья Парижа. Он предлагает тебе полететь с ним, обещает доставить туда, куда скажешь. Мы тоже возвращаемся по домам, незаметно, по-английски, все кроме Анны, которая уже спит наверху, на гостевом матрасе. Если едешь с нами, подтягивайся к диванчику Луи XIV, где сидит Эмма на раздаче водки с осоловевшим египтянином. Или же ты летишь, как стрекоза, по воздуху навстречу своему будущему. Решай!» Никола исчез, чтобы предупредить своих подружек о месте сбора и времени отъезда. Нелли он нашел в объятиях Алана, танцующих без всякого ритма, в состоянии обоюдной нирваны. Весть об отъезде она восприняла неохотно...

Эмма оставалась на своем боевом посту.

Вика находилась в компании нетанцующих гостей и Мишеля, который, с одной стороны, не спускал с нее глаз, с другой стороны, не обращая никакого внимания на присутствующих, проявлял явно эротический интерес к молодому мужчине с развитым торсом, щегольски причесанному и благоухающему дорогими духами. Хозяин дома его поглаживал, пощипывал, ласкал ему внутренние поверхности бедер, затем сел ему на колени и вдруг внезапно поцеловал его взасос долго и по-настоящему, а не в контексте прикола или спектакля, как это могло бы показаться вначале. Гости притихли, принимая реальность с вежливо-оторопелой улыбкой. Никола подошел к Вике, и тут же к ним приблизился Мишель, попросив перевести даме с французского: «Мадмуазель Вика, пойдемте с нами в мою спальню. Нам втроем будет, чем позабавиться. В конце концов, назвались горшком — полезайте в печь».

«Возьму с собой гитару, спою им 1001 песенку, как Шехерезада», — наивно подумала Вика.

Раздались первые залпы фейерверка. Внезапно отключился свет, Вику кто-то крепко взял за руку и четко, но негромко проговорил: «Бежим отсюда, все девушки уже собрались». Никола вел ее в темноте прямо к машине, где уже сидели Нелли и Эмма. Машина нырнула в неосвещенный лес. От очередной серии фейерверков заквакали лягушки, и по обочинам забегали напуганные кролики.

37

Когда в доме появился свет, Мишель обнаружил, что Вика исчезла. «Где же наш профессор любви? — спросил он у гостей. — Поищу-ка я ее на верхнем этаже», — сообщил он и резво поднялся по лестнице.

Наверху, в центре просторного зала, на высоком матрасе спала Анна. Рядом с ней, растянувшись на полу в блаженной позе, лежал Мухтар. Его намордник был расстегнут и съехал набекрень, а из пасти тонкой ниткой свисала блаженная слюна. Миролюбиво торчали желтые клыки.

38

ВАДИМ ПЬЯНКОВ, *Париж* **СТРАННОЕ ВРЕМЯ**

Стихи и песни

Город и Нева

Государыня Нева,
Кружевные острова,
Золотые купола,
Петропавловки стрела...
Нагляделась за века,
На дела людей река,

Что поставили на ней
 Город царственных кровей.
 Город неземных трудов,
 Горьких мук, прощальных снов,
 Освященный до основ
 Кровью русских мужиков.
 Город пушкинской поры,
 Летаргической хандры,
 Вольнодумцев, бунтарей...
 И ажурных фонарей.
 Город вел неравный бой
 С наступавшею водой,
 Погружался, но опять
 Отбивал за пядью пядь.
 Город заковал Неву
 В окаянную канву
 Из неласковых оков,
 Из гранитных берегов.
 И с тех пор течет она
 В тесный плен заточена.
 Город выжил, но, увы,
 Навека с Невой на Вы!
 39

На грузинских погостах

Старый ослик повозку
 Тянет в гору покорно,
 Загорелый старик
 Держит вожжи в руках;
 Так кончается жизнь
 И печально, и просто
 На грузинских погостах,
 в христианских крестах.
 Им навстречу бредет
 По дороге старуха,
 Держит спицы в руках,
 Вяжет внукам носки...
 А вокруг тишина,
 Ни движенья, ни звука.
 Что ей смерть, что разлука,
 Были б спицы легки...
 Старый ослик повозку
 Тащит в гору покорно,
 Но кончаются силы,
 Но пора на покой.
 На грузинских погостах
 И светло и просторно,
 И не жмутся могилы
 Одна у другой.
Тбилиси, 1987 г.

Сон

Памяти отца

Снился мне сон: мой отец возвратился,—
 Тот же пиджак, и рубашка, и брюки —
 Двери незапертой не удивился,
 Словно и не было вечной разлуки.
 Галстук, стянувший зашитую шею.
 Что-то забылось, но что-то осталось:
 Вспомнил, как юнгой взбирался на рей,

Как от облав укрывался в подвалы.
 40
 Я проглотил накатившие слезы,
 Я целовал его грубые руки.
 А под Архангельском те же морозы
 Лагерной сорокаградусной муки.
 Мы отреклись от священного братства
 Всех алкоголиков, жалких и мудрых:
 Если не выпьешь, то не разобратся
 В том, как жестоко тебя обманули.
 Неизлечима болезнь постиженья
 Зла и добра, красоты и уродства.
 Непостижима болезнь ослепленья
 Властью, с которой нет смысла бороться,
 Снился мне сон: мой отец возвратился,—
 Тот же пиджак, и рубашка, и брюки —
 Двери распахнутой не удивился,
 Словно и не было вечной разлуки!

Песенка о сладкой картошке

Ну почему я не паша
 в кармане шиш в ушах лапша
 не на лазурных берегах
 не в президентских номерах
 А то бы я смотрел на тех
 кому корячиться не грех
 кому работа не в облом
 как робот на металлолом
 Ну и пусть
 Щас пойду нажрюсь
 А то бы, выйдя на бульвар
 я б заплывал из бара в бар
 а не шатался б по пивным
 дыша туберкулезный дым
 Ну и пусть
 Щас пойду нажрюсь
 41

Однажды, если брошу пить
 начну картошку разводить
 На образцовый огород
 пусть удивляется народ
 Ну и пусть
 если не сорвусь
 научусь
 разводить картошку
 вкусную картошку
 сладкую картошку
 * * *

Плети, печальнейший Поэт,
 Как паучок, тенеты скорби.
 Но мотыльков в темнице нет,
 А горе и героя сгорбит.
 Встречай гостей в доме пустом,
 Мой паучок седоволосый,
 Пой, недотрога, о своем
 И не ответствуй на вопросы!
 На твой неясный огонек,
 Как летом мошкара на пламя,
 Слетятся сонмы новых строк,

Вращая детскими крылами.
 На потолке застынет след
 Твоих полуночных агоний,
 Где не укроет кабинет.
 Там сторожит тебя Полоний.
 Он, перечтя через плечо
 Твои полночные посланья,
 Велит послать за палачом;
 Но ты и так смертельно ранен.
 Тебя за лапки сволокут,
 Мой паучок, сорвут тенеты.
 Тебя, как и Его, распнут,
 О сказочный Поэт поэтов!
 42

Странное время

Наташе, Олегу и Лене

Над Москвой небо синее.
 Боль моя,
 жизнь моя.
 Над Москвой небо новое,
 как король,
 голое.
 Над страной время странное,
 буйное,
 пьяное.
 Настроенье весеннее:
 песенно,
 ветренно.
 Братство наше коньячное
 подлое,-
 спрячь его!
 Счастье наше отравлено
 сонными
 травами.
 Дети наши исколоты
 иглами
 ломкими.
 Души их продырявлены.
 Сталкеры,
 сталкеры...
 Довези до Останкино,
 а потом —
 в Дом Кино,
 а оттуда — на Горького:
 пьянка там
 горькая.
 Но от водки не радостно,
 муторно, пакостно.
 Ах, бензинная оргия
 города...
 Морг и я.

43

Над Москвой небо в ангелах,
 что летят
 в Англию.
 Над Москвой небо странное,
 по краям
 рваное.
 Над Москвой небо красное,

наглое,
страстное!
Над Москвой небо черное,
в золотых
воронах.

Новогодняя песня

Пахнет морозом и свежим надкушенным яблоком,
Что полетело под шины снующих машин...
Может, когда-нибудь жизнь и покажется праздником,
Но не теперь, на бегу, нам покажется праздником жизнь!
Пахнет морозом... Но нужно бежать за трамваем,
Что прозвенел и умчался за Курский вокзал.
Может, когда-нибудь жизнь и покажется
сказочным раем,
Только не здесь, не теперь и уже неизвестно когда...
Люди бегут, поскользнувшись нечаянно, падают,
В двери автобусов ломаются, толпы у входа в метро...
Может, когда-нибудь жить будем просто и праведно,
Или хотя бы свободно, но это уже не про то!
Если мы братья, как писано черным по белому,
То почему друг от друга отречься спешим?
Черные люди бегут, спотыкаясь, к троллейбусам,
Белые люди выходят из черных машин.
Пахнет морозом и свежим надкушенным яблоком,
Что полетело под шины снующих машин.
Может, когда-нибудь жизнь и покажется праздником,
Но не теперь, на бегу, нам покажется праздником жизнь!

Москва, 1985 г.

44

С французского

Гийом АПОЛЛИНЕР

Le Pont Mirabeau / Мост Мирабо

Мост Мирабо уснул струится Сена
Уносится любовь
Но неизменно
За радостью беда бредет посменно
Пробил полночный час
Я жив а день угас
В руке рука к лицу лицо замрем
И под живым
Трепещущим мостом
В мерцающих зрачках волны сольемся
Пробил полночный час
Я жив а день угас
Любовь уносит прочь волной текучей
От дорогих мостов
Но жить не учит
Жесткою мечтой напрасно мучит
Пробил полночный час
Я жив а день угас
Но не вернуть былые времена
Не воскресить
Любимых имена
Мост Мирабо уснул струится Сена
Пробил полночный час
Я жив а день угас

45

Жак БРЕЛЬ

Le Plat Pays / Страна низин

Вместе с Северным морем и его ледяными валами
 И волнами песка, что не станут морскими волнами,
 И громадами дамб, неподвластных движению лун,
 Навсегда я оставил свое сердце средь сумрачных дюн.
 Через толщи туманов пробиваюсь к родным берегам,
 И восточные ветры пролагают мой путь по волнам
 В край низин, что Отчизной зовется моей.
 Кафедральных соборов возвышаются гордые горы,
 Где у каменных монстров — удивленные детские взоры.
 Почерневшие шпили, словно мачты огромных фрегатов,
 И течение дней — от рожденья к рождественским датам,
 И дороги дождя, что сливаются в пасмурный вечер...
 Вместе с западным ветром я хочу быть подхвачен и встречен
 Краем хмурых равнин, что Отчизной зовется моей.
 Если небо так низко, что сливается с гладью каналов,
 Если небо так низко, словно хочет укрыться в подвалы,
 Если небо так хмуро, бесполезно рыдать и просить,
 Если небо так хмуро, то ему это надо простить!
 Вместе с Северным ветром, что его раздирает на части,
 Вместе с Северным ветром я делю твое горе и счастье,
 Край низин, что Отчизной зовется моей.
 Если б реки Италии повстречались с седой Эско,
 Если белая Фрида стала знойной толстухой Марго,
 Если б осени дети вновь вернулись, но только весной,
 И туманные дали трепетали под летней грозой,
 Если б южные ветры утопали в бескрайних хлебах,
 Я бы вплел мои песни, словно реки, в твои берега,
 Край низин, что Отчизной зовется моей.

Les Vieux / Старики

Они не говорят. Но все подскажет взгляд их глаз полуслепых;
 Пусть даже не бедны, но все ж разорены: пол-сердца на двоих.
 Несет в доме аптекой, травами, лавандой; в комнатах темно;
 Они живут в столице, а душою — там, где не были давно.
 Есть от чего смеяться, голоса трещат, как вспомнишь о былом;
 46
 Есть от чего рыдать, и катится слеза и падает на стол.
 Они дрожат и ждут, когда их срок пробьют часы из серебра,
 Что тикают в углу то «да» то «нет» во мглу: «Мы ждем и вам пора!»
 Им не о чем мечтать, их книги крепко спят, рояли на замке;
 Их кошечка мертва, и рюмочка винца их не заставит петь.
 Им тяжело ходить, их мир ничтожно мал, как у грудных детей:
 С постели до окна, от кресла до стола, и снова — на постель.
 И если иногда они покинут дом, взяв под руки подруг,
 То, значит, умер друг, и надо проводить его в последний путь,
 И плача не слышать, который час стучат часы из серебра,
 Что тикают в доме то «да» то «нет» во тьму, их торопя: «Пора...»
 Они не умирают, но уснут порой, проститься не успев;
 Не разнимают рук, боясь осиротеть, уже осиротев.
 Был мудр или глуп, был щедр или скуп тот, кто уснул навек,
 Неважно для того, кто продолжает жить, кляня свой долгий век.
 Быть может, вы его увидите однажды в скорби и в дожде;
 Он вам уступит путь, замешкается чуть, и значит, быть беде...
 Но вот и для него пробил смертный час часы из серебра,
 Что тикают в доме то «да» то «нет» во тьму: «Ну что ж, тебе пора!»
 Что тикают в доме то «да» то «нет» во тьму, куда и нам пора...
 47

Жан КОКТО

Le Poète de trente ans / Тридцатилетний поэт

Теперь мне тридцать лет. Прошло почти полжизни.

Пора взглянуть, как жил. И я полез на крышу,

И вижу с двух сторон один и тот же вид:

Налево — юный май, правей январь лежит.

Земля красна от сил, а виноград — от света.

Летит золотая лань в лозах его густых.

С другой же стороны белое полощет ветер,

Года мои в снегах, как почести, пустых.

Я прошепчу в сердцах: «Прости любовь Поэта!»

Построю новый дом, из песен и стихов.

Хватило б только сил, пока в разгаре лето,

Пока в зените жизнь, хватило б лучших слов!

48

ОЛЬГА КЛЯЙН,

Овернь

ЦВЕТОК МОЕГО ДЕТСТВА

Денису, Ляну и Ритику

В моей такой наконец-то устроенной, виновато-праздной жизни мне почему-то искренне необходимо слышать хотя бы по телефону ее голос. Голос моей единственной за всю жизнь подруги детства Флеры, которую все звали Флюра. Мы выросли в Башкирии и были связаны татарским происхождением, соседством по двору и общим хождением в школу и из школы через дыру в деревянном заборе, а позже длинной и нудной дорогой в старшие классы до долгожданного ее конца с вручением нам аттестатов зрелости, которой мы так и не приобрели, несмотря на все усилия советской общественности. Хорошо запомнился выпускной вечер, на который мы опоздали, потому что моя подруга не успела вовремя дошить свое выпускное платье. Деньги на ткань мы все утро кланчили у ее матери и побежали в магазин уже после обеда, всю дорогу дрожа и спотыкаясь от нетерпения и боязни всех встречающих «не»: не найти подходящую ткань, не успеть сшить, не успеть к началу вечера. Платье получилось очень красивым, хотя белой ткани мы так и не нашли, а купили кремовую, со светло-желтыми сатиновыми полосами. Платье было таким же красивым, как и моя подруга.

Я не без зависти, которая была не совсем белой, а с серыми сатиновыми полосами, смотрела на ее полную взрослую фигуру, огромные зеленые глаза, казавшиеся еще больше из-за подведений черным карандашом, высокую прическу из пышных темно-каштановых волос, которые, если их распустить, каскадом падали по спине, извиваясь и издеваясь над моими, козье-пуховыми, не укладывающимися ни в какие прически, несмотря на все модные начесы и причесы. Надо сказать, что только во внешнем нашем виде я признавала ее полное во всех смыслах превосходство и глупо отстаивала свое так называемое умственное, доказанное такими же глупыми оценками в школе и прочими мелкими познаниями чего-то.

Наша дорога к неизбежному женскому соперничеству закончилась в самом начале, где-то в девятом классе, когда Флюра превратилась в полного белоеевого лебедя, а я так и осталась «гадким

49

утенком», как любовно меня называла моя мать, а остальные подчеркивали это своим ко мне, как в сказке, отношением. Я сдалась сразу и подобострастно бежала за ней по дороге в школу, кланчила сшить мне модное мини-платье, в котором потом блистала, как мне

казалось, но все равно не могла (да и не очень старалась) затмить это солнечное противостояние, за которым тащились какие-то немислимые красавцы из других, казавшихся превосходительно-загадочными школ, или даже, что было просто немислимо потрясающе, красавцы-студенты. На всю эту колготу Флюра никак не отвечала. Я долго не могла понять ее женского неубедительного спокойствия по отношению к мужскому полу. Что это было? Уверенное превосходство? Ожидание принца из сказок, которых она не читала? Всякое отсутствие чувств?

Мы тащились по жизни, как по дороге в школу: то рядом, в дружеском разговоре, особенно, если надо было высказаться, обсудить, выяснить что-то, может, совсем не важное, но что мы можем понять с полуслова и только между собой; то обгоняя друг друга с упреками и обидами, в детской невинной злобе обзывая друг друга самыми обидными прозвищами, зная, что именно они ужалят больше всего, и, запыхавшись, останавливались. Мы прощали друг другу все. Может, потому что не было между нами предательств, даже если и было что-то, что мы посчитали таковыми, но со временем поняли, что ошиблись? Ошиблись, потому что не объяснились вовремя, обменялись только полусловами, как раньше, и подумали, что поняли друг друга? Мы брели по жизни без какой-либо цели, но с надеждой, что кривая выведет к чему-то светлому, доброму, может, потому что мы никому не делали и не желали зла и непонимающе смотрели на все нас окружающее, в котором мы вроде бы и были, но в каком-то замедленном ожидании чуда, которое так и не свершилось, не реализовалось во что-то материальное и которое мы могли бы описать. Нас связывала какая-то ошибка. Что общего можно было найти между убедительно красивой, не нуждающейся ни в каких усилиях нравиться женщиной и мной, так рано отказавшейся от усилий что-либо доказывать вообще? Нас безусловно связывала какая-то тайна. Тайна нашей жизни. Мы тащились, а время несло. Мы почти молча смотрели на жизненные «неудачи» друг друга, на наши жизненные «ошибки». Это так другие называли нашу жизнь и перемышляли нам кости и кости наших детей. Мы пристраивались к своим, ища защиты и понимания, но были отвергнуты почти бесповоротно, то есть несколько раз возвращались, но все потому, что еще не открыли тайну нашей жизни.

50

А однажды я уехала. Уехала так далеко и быстро, что мое сердце замерло и не успело меня догнать и так и осталось где-то на границе моей прошлой жизни и страны. А Флюра и я, мы потеряли друг друга. Мы потеряли нашу тайну. Никто из нас не искал встречи. Детство было так же далеко, как и моя подруга. Каждая из нас остановилась где-то на своем личном пути, и мне уже не хватало просто взгляда, чтобы высмотреть на дороге в школу ее высокую по сравнению с моей фигуру и рядом с ней ее маленького сына, лицом в мать и еще в кого-то, которого он не знал. Как и моя старшая дочка, в шесть лет идущая такой же размашистой походкой, как и какой-то дядя, шагающий ей навстречу и прошедший мимо, узнавший, но не признавший ее. Мы остановились на этой дороге, так и не дождавшись чуда, которое не могли описать словами. И только однажды, после нескольких, сначала прохладных, потом становившихся все теплее встреч, разговаривая по телефону, рассказывая в который раз свою «неудавшуюся» жизнь, мы наконец раскрыли ее тайну. Начала я, рассказывая о дочерях и, видимо, с такой любовью и самозабвением, с таким поэтическим, неземным полетом души, что Флюра тоже за-

мерла в этом полете, вдруг начиная понимать, чего нам не досталось в детстве, в нашей жизни. Такой вот праведной, отправляющей в полет материнской любви. А без нее мы не могли быть счастливы, не могли поверить, что кто-то другой может любить нас просто за то, какие мы есть. Это была наша тайна, которая была тайной и для нас. Раскрыв ее, мы ухватились друг за друга и больше не отпустим эти связывающие нас узы, которые жизнь постаралась разорвать, но не смогла.

Вот почему мне необходимо слышать хотя бы по телефону ее голос. Он изменился так же, как и мой, вставший на ноту нашего детства, когда мы шептались, как будто скрывали от всех неизвестную нам самим тайну, связавшую нас на всю жизнь.

Вот почему, когда вспоминаются ссоры, обиды — все какого-то низкого, мелочного характера, меня охватывает стылое, глубокое сожаление, иногда выползающее из души в мой понурый, безутешный взгляд. Но тут же просвечивается детское бесхитростное оправдание всем этим маленьким бездарностям нашей прошлой, такой же маленькой жизни. Оправдание, до сих пор согревающее мне душу, несмотря ни на какие расстояния, ни на какие годы и разлуки. Все это мелкое было потому, что тогда, в детстве, я просто не могла знать, что однажды уеду жить во Францию и пойму, что «флер» означает «цветок».

Март, 2010

51

Мой дом

Вернусь к разбитому корыту,
К России, ей поклон отдам.
С душою, наглухо закрытой,
Ненужная ни здесь, ни там.
И не найду родного дома:
Он продан и опустошен;
Со всем, что было в нем святого,
На главной площади сожжен...

О Гулагах

Здесь
Столько проволоки колючей
Что даже Бог самый могучий
Взирающий с небес
Не перелез
Че-рез...

Два креста

Тяжелый первый крест тащила,
себя и душу надрывая.
А легкий крест должна б нести порхая,
как бабочка беспечная такая.
И правда, что там мне осталось в жизни сделать?
Все ничего: герань полить,
внучонка выродить
и мать похоронить...

Как Ассоль

Я все на берегу стояла,
Как Ассоль.
Наивно и невинно.
С печальной нежностью протянутой рукой,
От ожидания выцветшей душой,
В которой боль...

Да-да, как больно было
 Вслед алым парусам смотреть,
 Так слепо проплывавшим мимо...
 52

* * *

Из моего окна я вижу далеко.
 Так далеко, что сердце замирает,
 Возносится, и падает, и тает
 В последнем облаке, летящем высоко.
 Из моего окна мне больно оттого
 Смотреть на облака, летящие так низко,
 Так тяжело и безысходно близко
 К душе моей, ранимой так легко.

Маме

Небо дрожит от холода —
 Солнцами не согреть.
 Сердце мое исколото
 Стонами по тебе.
 Только мне стонов мало —
 Мукой кричу стрелецкой!
 А вырывается: «Ма-ама!»,
 Как из кровати детской...

Упражнение в слове

Нет ничего сильнее родного слова.
 Оно меня возносит к небесам.
 Словами надуваю паруса,
 Чтоб выйти в море слов за словом.
 Как я могла так бессловесно жить,
 Так безусловно ошибиться в слове,
 Прощать, но на словах, и на словах любить
 И убивать словами, не жалея слова!
 «А слово ведь не воробей:
 Раз вылетело — не поймаешь»...
 Ты им бросаешься, играешь
 И слов простых не понимаешь
 И слов совсем не подбираешь,
 Чтоб ранить словом побольней.
 53

Как трудно перейти от слова к слову,
 От слова чуждого — к родному,
 Когда тебя лишили слова,
 Когда тебе не дали слова!
 А помнишь, как поверила на слово,
 Когда тебе его давали безвозвратно,
 Чтоб не сдержать его и взять его обратно
 Да так, что ты лишилась дара слова!..
 Когда от слов кружится голова,
 И не хватает слов, чтобы задело словом,
 Ищу слова, ловлю себя на слове,
 Что нету слов, чтоб выразить Слова!
 54

АЛЛА СЕРГЕЕВА,

Париж

О ДВУГОРБЫХ ЛОШАДЯХ И БЕЗГОРБЫХ ВЕРБЛЮДАХ

Заметки о лингвистических мифах

«Что за урод этот верблюд?» — думает верблюд, глядя на лошадь. «Что за урод эта лошадь?» — думает лошадь, глядя на верблюда. Этот известный анекдот — о стереотипах восприятия, которые касаются и стереотипов восприятия русских французами и наоборот. Отсюда и рождение многих мифов, вроде того, что «все французские мужчины — галантные кавалеры и пылкие любовники», а «русские женщины — легко доступны». ... Подобные проблемы — тема отдельная. Мы же затронем сегодня только мифы лингвистические: как у нас, русских и французов, складывались отношения в плане языка? Кто на кого влиял? Каким образом? Какой язык оставил свой след в другом и, тем самым, повлиял на другую культуру, на способ восприятия жизни другого народа? Ведь сказал же Анатоль Франс, что «Словарь — это Вселенная, расположенная в алфавитном порядке». Всем известно, что в XVIII–XIX веках русский язык обильно обогатился словами французского происхождения. Язык великих просветителей (Вольтер, Дидро, Руссо) — был в те времена, пожалуй, самым богатым и стилистически развитым языком в Европе. И тем самым он, безусловно, влиял на все европейские языки, в том числе и на русский. В результате галломании российской аристократии в нашем языке появились слова, пропитанные французским духом. Пронесите, попробуйте на язык эти слова: *шарм, адюльтер, кавалер, кокетка, комильфо, реверанс, комплимент, деликатес*... Французский язык затронул все сферы русской жизни, но особенно активно он повлиял на то, что касалось философии, литературы, театра и сцены, живописи, а также кулинарии и гастрономических ощущений, моды, парфюмерии, косметики и прочих атрибутов роскошной и чувственной жизни — все это нам подарили представители нации, очень любящей жизнь. А переняли их наши аристократы, бойко болтающие по-французски с младенчества. Так и пошло, и длилось это чуть не два с половиной века.

55

И до сих пор музыка «шикарных» французских слов для русского уха звучит более благозвучно по сравнению с родными словами. К примеру, слово «бутик», называющее во Франции обыкновенную торговую лавку, в России значительно повысилось в ранге. Из названия рядового магазина в русском языке оно стало обозначать дорогое торговое заведение для престижных клиентов или для тех, кто считает себя таковыми. Недаром в районе Арбата в Москве можно встретить магазинчики под названием, вызывающим оторопь: «Овощной бутик», «Мясной бутик». Неважно, что там продается обычная картошка-морковка или свинина, зато как звучит! Однако среди французских слов в русском языке есть несколько вполне «странных», которые не совпадают, при всем своем благородном происхождении, с их не вполне высоким смыслом. Вот несколько примеров: явно иностранные по происхождению слова «шантрапа», «шваль», «шпана», «шаромыжник», по расхожим версиям, пришли в русский язык из французского, но им явно не хватает ни «шика», ни престижности. Какие-то они грубые, совсем не благородные, а, скорее, бранные. Как могли русские аристократы, бойко болтающие по-французски, взять из великого французского языка такие низкие слова, характеризующие проходимцев, обманщиков или хулиганов? Неужели на светлом пути благородных русских аристократов возникали подобные существа? Что-то сомнительно... Если же приглядеться внимательнее, то подозрительное предчувствие какой-то неправды оборачивается сюрпризами.... Вот слово «шваль». Многие историки языка единодушно возводят

его к французскому слову *cheval* (лошадь). При этом рисуются картины, милые сердцу русского патриота, поскольку они возвращают нас в эпоху победы русского оружия над армией Наполеона. Представьте себе картину. Зима. Мороз. Французские войска разбиты и деморализованы. По снежному полю бродят остатки непобедимой ранее армии — голодные французские солдаты, готовые съесть что угодно. Русские крестьяне не всегда могли обеспечивать «гуманитарную помощь» бывшим оккупантам, поэтому те нередко включали в свой рацион и конину, ели даже падаль. Вот и просили они слезно у крестьян: «**шваль, шваль, дай шваль, есть ведь хочется**». Только о французах ли здесь идет речь? Это же — французы (!), а не дикари из дебрей Амазонки. Чтобы француз выпрашивал и ел мерзлую падаль? Вы это можете себе представить воочию? Ну, не знаю...

Идем дальше. Понятно, что русские крестьяне без особого пиетета относились к гастрономическим пристрастиям французов, и, видимо, их бесконечные просьбы о *cheval* навязли в ушах. Вот по-

этому они массово окрестили жалких французов бранным словечком «**шваль**» — в смысле «сволочь всякая», «сброд», «дрянные люди». Убедительная картина? Только если бы я не знала французов, то поверила бы....

Мне представляется более убедительной другая этимология.

Действительно, русское словечко «**шваль**» идет от французского *cheval*, а скорее — от *chevalier* — всадник, рыцарь, название младшего дворянского титула, которое переключалось в карточные игры: во Франции словом *cheval* при игре в карты сначала было принято называть вольта, а затем вообще плохую, мелкую карту, которая портила игру. Недаром во французском аргю это слово имело значение «грубый человек». Но как, однако, деликатное именование «грубого человека» далеко от смачной русской брани: «**шваль**»! Что-то здесь не так.

Конечно, версия о французском происхождении русского ругательства тешит наше национальное самолюбие, но... есть и еще одна, наиболее убедительная версия истории **швали**: это исконно русское слово, и происходит оно от имени русского предателя Ивашки Шваля. К этой этимологии был склонен и великий В. Даль, который крутил это слово в своем словаре и так, и эдак, и ничего не сказал о его французском происхождении. Неужели забыл недавние времена начала века? Нет, не мог, очень уж тщательный и энциклопедически образованный был человек. Зато он упоминает **шваль** в связи с глаголом «**шить**»: тот, кто шьет — называется «**швец**» или «**шваль**». Причем В. Даль отмечает эти слова в своем словаре как давным-давно известные в русском языке, и более того — даже как устаревшие. Хорошо. Но какая может быть связь между названием портного со смачным ругательством, называющим отбросы общества? Профессия ведь не презренная. Как могло **шваль** стать ругательным словом? А способствовал этому Ивашка Шваль, по профессии портной, прославленный своим предательством при захвате Новгорода шведами в 1614 году. Хлоп был захвачен шведами в плен и согласился открыть врагу городские ворота в назначенное время. Наемники ворвались в город. Ивашка Шваль был реальным лицом — Иваном Прокофьевым, и получил щедрую мзду за предательство. Вот так его профессиональная кличка «**шваль**» обогатила весь русский язык, став обидным прозвищем. И французы вкупе с победительным героизмом русского крестьянина тут совсем ни при чем. Русское это слово. Совершенно в том же ключе и история бранного слова «**шаро-**

мыжник», тоже называющего проходимца и любителя пожить за чужой счет. Еще раз представим себе картинку: опять 1812 год, зима, 57

мороз, голодные французы, которые кланяются каждому русскому крестьянину и учтиво-заискивающе обращаются к нему: *cher ami*, мол, дорогой друг, дай чего-нибудь пожевать... Не «силь ву пле» или «же ву при», и не «питье» в случае голодных мук. Нет, «*шер ами*», и все тут! Наверное, и галантный книксен делали при этом. Крестьяне же, в иностранных языках не сильные, мол, так и прозвали французских попрошаек — «**шаромыжниками**». По преданиям, даже наш славный гусар Денис Давыдов рассказывал прославленному фельдмаршалу М. И. Кутузову о лингвистических новшествах, введенных французами.

Красиво, правда? Я и сама, поверив этому, не одного французского ученика подсадила на эту трогательную версию, которая иллюстрирует парадоксы французо-русских отношений. Ну, ладно, «**шар-**» и «**шер-**» можно перепутать в русской огласовке, только откуда взялось это нелепое окончание «-ыжник» (**шаромыжник**)? Ну не может быть, просто не бывает в языке такой путаницы и случайностей: в нем всегда все системно организовано и логично. Язык — это прежде всего система. Так что французская версия происхождения слова «**шаромыжник**» очень литературная и трогательная для русского сердца, однако скрипит по всем швам.

И остается одно и верить серьезным ученым (Шанский Н. М. «Этимологический словарь»), которые категорически настаивают на том, что это слово тоже исконнорусское. Оно возникло на базе разговорного оборота «шаром-даром» («на чужой счет», бесплатно), отсюда широко распространенное и в диалектах, и в разговорном языке «**шаромыга**» (-ыга как в «торопыга»), дальше — «**шаромыжник**». Конечно, до слез жаль французские аллюзии, воспоминания о русских победах 1812 года, моральное превосходство русского крестьянина над жалкими и обезумевшими от голода французами, в самых галантных выражениях просивших у них на пропитание конскую падаль. Любой миф живописнее грубой реальности. Но ведь это только миф.

Оставим в стороне победные реликвии 1812 года. У нас осталось еще одно «французское» слово, которое в последнее время активизировалось в русском языке — «**шантрапа**». Только в сети Всемирной паутины оно попало более двух тысяч раз (по сведению Yandex). Ему была даже посвящена передача на радиостанции «Эхо Москвы». Только откуда взялось это бранное, и в то же время — эдакое по-французски «шикарное» слово? Ведь можно манерно тянуть — слегка в нос — «**шан-н-н-трапа**», и от этого казаться самому себе почти французом.

58

Толковые и этимологические словари до последнего времени настаивали на благородных истоках этого слова — из Франции. Мол, это слово — переоформленное выражение **(ne) chantera pas** — «не будет петь», что означало приговор при отборе французский детей в церковный хор. Мол, этим выражением назывался тот, кто **(ne) chantera pas**, то есть не способный к пению, «бесталанный», «ничемный», кому «медведь на ухо наступил» и ему не светит слава в лоне русского искусства.

Получается, что бесталанность в вокале стала синонимом ничемного человека, даже проходимца? Что-то здесь не клеится... Допустим, современное значение слова «**шантрапа**» («проходи-

мец» в ед. и мн. числе) не совсем далеко от описанной ситуации, от смысла, когда хотят назвать человека «бесталанным, никчемным, никуда не годным». Но тогда как объяснить тот факт, что слово «шантрапа» встречалось и во многих русских народных говорах, диалектах позапрошлого века? Например, в пошехонском, воронежском (в значении «сволочь»), смоленском («беднота, голь») и др.? Диалектное использование этого слова не может быть досадным недоразумением или случайностью. Я, к примеру, воспитанная на идеях лингвистики, почитаю ее как науку строгую, более точную и объективную, чем, например, история или там политология и проч. Для меня неопровержимое доказательство факта из истории слова — фиксация его в словаре в определенный момент и в определенном контексте — документ.

Проанализировав данные различных языков, историки русского языка пришли к выводу, что русские диалектизмы «шантрапа/шантропа» (как вариант) восходят к древнечешскому «шантрок» (буквально — «обманщик»), которое, в свою очередь, восходит к средневерхненемецкому *santrocke* — «обман». Сколь ни извилистыми кажутся пути вхождения слова «шантрапа» в русский язык, с ними нельзя не считаться именно благодаря его смыслу: оно называет отнюдь не бесталанного, тугоухого и немзыкального человека, а ловкого проходимца, пройдоху, проныру.

Правда, на наших глазах наметились некоторые изменения этого слова. В сочетании с определениями типа «всякая», «разная», порой даже «литературная», «политическая», или даже «эстрадная» и т. п. оно означает некую группу людей, незначительных или даже ничтожных. Правда, активное употребление этого слова в романтическом контексте песен В. Высоцкого и А. Розенбаума постепенно стирает его пренебрежительный смысл. Сравните: в песне популярного барда Тимура Шаова упоминается

59

«Молодняк крутой да бойкий,
Злые внуки перестройки,
по-французски — **шантрапа**».

Звучит, прямо скажем, неласково. Зато у А. Розенбаума — в ином, ностальгическом ключе воспоминаний о юности это слово почти нейтрально:

«Я вчера раскопал фотографию с детства:

Шантрапа, шантрапа — невозможно наглядеться.

...Кочегарки труба... куст сирени... задний дворик...

Шантрапа, шантрапа, как всегда, на зубы спорит...»

А то, что оно звучит почти по-французски, так это как раз тот случай, когда можно говорить о смеси французского с нижегородским. Очень близко к этому слову еще одно крайне неодобрительное собирательное слово, называющее мелких жуликов, группу подростков-хулиганов, малолетних преступников — **шпана**. С ударением на последнем слоге оно тоже звучит «по-французски» и наводит на мысль о влиянии французов на нашу жизнь. Тем более что во французском аргю отмечено слово *chenapan*, «шнапан», что значит «бандит» (Robert). Мог ли русский аристократ в порыве гнева крикнуть: «Вон отсюда, шнапан»? И на «нервной почве» перепутать «шнапан» со «шпаной»? Большой вопрос. По крайней мере, такая версия в лингвистической литературе предлагается. Мне же кажется, что это слово — тоже вполне отечественное изобретение, оно означает — «группа малолетних преступников», и эта традиция и практика родились в славном городе Одессе, как еще говорят, Одессе-маме, и

заимствовано это слово из идиша: «шпаннен» значит «напрягать». Высыпала группа подростков на Дерибасовскую и начинала всячески «напрягать» состоятельных граждан, чтобы те поскорее и без сожаления расставались с ценностями. Кстати, просмотрев «Словарь воровского аргю» я была поражена, каким количеством воровских слов и словечек из идиша (читай — из Одессы) обогатился наш переимчивый язык: от «ксивы» до «шахер-махера» — огромное количество. А теперь присмотримся к еще одному слову — **быстро**. По общепринятой легенде оно является кузеном **шантрапе**, но в обратном направлении — из России во Францию. Преподаватели русского языка французам и русские гиды во Франции обожают рассказывать байку о том, как в 1814 году казаки вошли в Париж, вели себя здесь крайне галантно, но не смогли избавиться от традиционного пристрастия к алкоголю. Они врывались в разные забегаловки и подгоняли

60
хозяев криками «быстро, быстро», мол, «давай, наливай стопку, да мы пойдем дальше». Потрясенные статью и темпераментом казаков, парижане, мол, переняли это слово, но, разумеется, так никогда и не смогли произносить его на русский лад, отсюда и пошло **bistro**.

И все довольны таким объяснением: ученики раз и навсегда запоминают русское «быстро», а учителя испытывают почти национальную гордость: мол, мы не только берем от вас, а случается — и даем! Практичные французы используют этот миф «на всю катушку»: на площади Тертр возле базилики Сакре-Кер есть ресторанчик «У ма-маши Катрин», а на нем чуть не сто лет висит мемориальная доска с изложением «казацкого» происхождения **bistro**, и ресторанчик, говорят, не пустует! Значит, и французам полюбился этот миф?... А вот если задуматься, то приходят сомнения... Как вели себя русские казаки в Париже, прекрасно описано у Тынянова. Он рассказывает, что, когда император Александр увидел, что два его гвардейца вошли в кабак, то пришел в ужас: «Пусть граф Орлов ворует, но он — один, а если вся армия пойдет в кабак, кто же защитит Россию?» Однако представим себе, что были такие, кто нарушал царский запрет и вбегал в кабак с целью быстренько опрокинуть стопку. Однако у Пушкина в таких ситуациях герои кричали не «быстро», а, например, — «**Живее, братец!**». И потом — как это, однако, не по-русски — заглотить стопочку и бежать дальше... Так только пропащие алкоголики себя ведут, а много ли было таких было в армии в ту пору? Русские ходят в кабак не затем, чтобы «быстро» напиться, а чтобы «посидеть», потолковать о том и сем... Так что сама манера русских врываться в кабаки с криками «быстро» кажется очень сомнительной.

А если к тому же обратиться к лучшим французским словарям Robert, Larousse, Hachette, то они хором отмечают русское происхождение этого слова, утверждая неясность его происхождения, а порой даже категорически полагая русское происхождение этого слова во французском языке чистой фантазией. Так, изданный Robert под руководством Алена Рея трехтомный «Исторический словарь французского языка» утверждает, что во французском языке слова мужского рода **bistro**, **bistrot** впервые отмечены не ранее 1884 года! То есть чуть не через 70 лет после визита казаков? А эти 70 лет, значит, слово не упоминалось? Может ли быть такое, чтобы три поколения французов после исхода русских из Парижа напрочь забыли это слово, а через 70 лет вдруг вспомнили и зафиксировали в словаре? Но ведь это невозможно! Так просто не бывает... Зато в 1845 году отмечено слово, похожее на «быстро» — **bistingo** (кабак, дешевая го-

61

стиница, где ночуют цыгане), или в 1848 году — bistinrinque из канадского варианта французского языка — в том же значении. Словом, прародители французского «**бистро**» неясны, темны. Можно быть уверенным только в одном, что русские тут не при чем.

Robert предлагает этимологию от **bistrouille**, разговорного слова, означающего дешевый алкоголь или вообще напиток плохого качества, грубо говоря — пойло. Лингвисты говорят, что оно получилось от сложения **bis** (дважды) и **touiller** (мешать). Сто лет тому назад и бельгийцам было известно это слово: они так называли смесь кофе с крепким алкоголем. Значит, первоначально **bistro** означало дешевое заведение, где **on bistouille**, то есть где пьют сомнительные напитки, в которые добавляли что попало, а потом дважды смешивали, чтобы отбить отвратительный вкус.

Конечно, такая этимология разрушает радужный образ казацкого веселья и душевного слияния парижан с русскими. Вместо веселья вылезает образ сомнительного заведения, где подают дешевое пойло. Ну что же... Этот печальный образ почти стерся: теперь бистро — это недорогое заведение, «типично французское» кафе или ресторанчик со своим стилем (style bistro). Ясно, что мы посягнули на национальную легенду, но, как говорится, «Сократ мне друг, но истина дороже!».

В заключение можно сказать, что французские заимствования в русском языке отражали прежде всего изысканный вкус дворянского общества, называли главным образом то, что характеризует утонченную жизнь с ее роскошными и артистическими атрибутами. Как сейчас сказали бы, гламурную. Желая быть продвинутыми, русские аристократы жадно перенимали все, что идет из прекрасной Франции: от покроя одежды или оттенка парфюма — до устройства театра или художественного приема в живописи. И вряд ли их жизнь пересекалась с проходимцами или любителями пожить на чужой счет. Вернее, может быть, она порой и пересекалась, но эти коллизии тоже разрешались особым утонченным образом: дуэлью, например. До использования бранных слов русские аристократы не доходили. Тем более им не могло прийти в голову перенимать бранные слова у своих крестьян. Так что шипящие звучные слова «**шпана**», «**шваль**», «**шантрапа**», «**шаромыжник**» — это все наше родное, отечественное изобретение, и французы тут ни при чем.

62

АНАТОЛИЙ ВАЙНШТЕЙН,

Париж

Панегирик нулю

Все начинается с нуля,
Как с колокольни вид окрестный,
Как симфонический оркестр,
Настроенный на ноту «ля».
Все начинается с нуля,
Как охи девичьи с обновки,
Как муки школьные с нулевки,
Как живопись с каля-малы.
Но как себе представить ноль?
Уму непроворот от версий:
Ноль — вроде дыр или отверстий,
Которые проела моль.
Ноль — как без сновидений сон,
На грани «нет» и «да» мерцанье,

Он вам и точка замерзанья,
 И точка таяния он.
 Ноль — это эвфемизм очка,
 Ноль — он капкан или ошейник,
 Ноль — как в густой толпе отшельник
 Иль как пропавший в ВЧКа,
 Как выбывший, как полный нуль,
 Навеки потерявший облик,
 Он выглядит не так, как бублик,
 А выбоиною от пуль.
 Ноль отличим от буквы «О»
 Тем, что он девственно невинен —
 В том смысле, что в упор не виден,
 Как и.т.д. иль НЛО.
 Вот почему опричь нуля
 Предпочитают единицу:
 Милей в руках держать синицу,
 Чем видеть в небе журавля.
 63
 Пусть хоть какое-то добро,
 Чем этот ноль пустопорожний —
 Уж лучше схлопотать по роже,
 Чем сгинуть в вакуум, в «зеро».
 Но ноль отнюдь не пустота,
 Тем паче — не исчезновенье,
 И единица вожделенье
 К нему питает неспроста.
 Ведь ноль как первородный грех
 Имеет явный признак пола
 И потому легко и голо
 Он сочетается при всех
 Со всеми числами подряд,
 Хоть больше склонен к единице,
 С ней спариваясь в вереницы
 Двоичных чисел наугад.
 Нет, ноль — не то, что колесо,
 Такое чуждое природе,
 Он — словно командир при роте,
 В руках умелых он — лассо,
 Ковбоем брошенное в цель.
 Нет, ноль — не гирия на безмене,
 Ноль — он поистине безмерен,
 Он — не отселе и досель,
 Он безграничен, как ничто
 Иное в видимом пространстве,
 Ноль — это сумма всех пространств,
 Предел, великое ничто.
 Пусть ноль — обычная дыра
 Иль уж на крайний случай — пальцы,
 Но нам бы не хватило пальцев
 Считать всем миром до утра,
 Всю ночь, пока не рассвело,
 Всем — и монахам и мирянам —
 Под нулевым меридианом
 Какое спрятано число?
 А как исчислить сумму дней,
 Прошедших с сотворенья мира,
 64
 А сосчитать в сырах все дыры,

А смерить толщину теней?
 Нет, ноль — он только с виду прост,
 Хоть он для чисел — те же дрожжи,
 Добавил чуть, и видишь позже,
 Как все идет и вширь и в рост.
 Так значит ноль — не пустота,
 Не немота беззвучных пауз,
 В нем, как в стихах, «Белеет парус»,
 Неслыханная красота.
 Она — как белизна холста,
 Таящего в себе Мадонну,
 Великий замысел бездонный,
 Еще не вложенный в уста....
 Как в нотах берегут бемоль,
 Как ока берегут зеницу,
 Вот так, во славу единицы,
 Пусть в чистоте хранится ноль.
 С него мы открываем мир:
 Как с колокольни вид окрестный,
 Как вкус к еде с лепешки пресной,
 Как с углой хижины амбир.
 Все начинается с нуля:
 И охи девицы с обновки,
 И мухи в комнате с готовки,
 И мат при виде короля.
 С нулем — с ним каждый обручен,
 Как город с кольцевой дорогой,
 Как горный кряж с землей пологой
 Срастись навеки обречен.
 Ноль — неприкаянная голь,
 Под камень легшие без даты
 Те безымянные солдаты,
 Которых выстригли под ноль.
 Все обнуляется землей —
 Не только молнии зигзаги,
 Не только мумий саркофаги
 Иль угли, ставшие золой,
 65
 Но даже наши голоса —
 И то, что раньше было смехом,
 Все исчезает вслед за эхом,
 Как прошлогодняя роса,
 Все завершается нулем
 И в ноль уходит без возврата....
 А у тебя ума палата?
 Что ж, открывай, и разольем!

Ураган

Не как у Гоголя, а после
 Двухтысячного Рождества,
 В ночь — тут недоглядел апостол
 Или проделки естества —
 Но показались вдруг рога на
 Старинной башне Сен-Дени,
 И черной тенью урагана
 Накрыло святочные дни.
 Париж — что хутор близь Диканьки:
 И свист, и вой со всех концов,
 И ветер, как солону с баньки,

Срывает картуши дворцов.
 Из-под земли и из-под глины
 Он рвет запястья корневищ,
 Там, где стояли исполины,
 То бурелом, то черный свищ.
 Не ураганом — уркаганом
 Тюремный выломан засов,
 И враз повержены органы
 Стройнейших, звучнейших лесов;
 Слова: Булонь, Версаль, Венсеннский —
 Их чтит не только полиглот.
 Но чтобы все по-деревенски
 Учесть, мол, сколько полегло,
 Повыкорчевало, разбило —
 Тела стволов перепилив,
 Наносят цифры на распилы,—
 Процесс не скор и кропотлив.

66

Обычно ушлые потомки,
 Чтоб из руин воздвигнуть храм,
 Так метят пыльные обломки,
 Но этот зодчий к штабелям
 Все больше склонен — он возвысил,
 Он и подмял своей пятой.
 И где тут промысел и смысл?..
 На бревнах метки красных чисел
 Неисчислимою бедой.

Париж, 23.7.2000

67

ОЛЬГА ГАЛАТ,

Париж

«НА ТКАНЬ НЕБЕСНОГО КОВРА...»

Стихи

Стихопад

Шел человек к себе домой, кому-то нужный,
 Кому-то след оставив свой в задрогшей луже,
 Качался сумрак в фонарях вечерней стужи
 И старый город остывал, как стынет ужин...
 На ткань небесного ковра из многоточья
 Летели мысли по слогам, меняя почерк.
 На город шла ночная мгла, мне снег пророча,
 И тихо падали слова, роняя строчки.
 Не знала ночь волшебств своих конца и края,
 Она смеялась как дитя, во сне летая,
 Большими хлопьями на лист, дрожа и тая,
 Стихи валились просто так, со мной играя...

* * *

По бездорожью зим, по перекресткам лет,
 Мы все куда-то летим, как мотыльки на свет...
 Кто-то достиг высот, кто-то осел в домах,
 Кто-то скопил песок в запертых сундуках,
 Но у каждого есть тот вздох, когда смысл теряет суть,
 Когда ценится только Бог, когда вылечит только путь.
 И не жалея сил, и не считая средств,
 Кто из нас не уходил из насиженных мест?
 Чтобы найти родства в музыке ветров иных,
 Где инородства слова сложат победный стих,

Бросят воинственный клич, переходящий в стон,
 Чтобы опять достичь.
 И чтобы бросить.
 Потом.
 68

Чародейка

Приворожила. Приведьмила. Приколдовала.
 Приговорила. Причудила. Прицеловала.
 Прельстила. Пригадала. Приворковала.
 Приснилась. Обманула. Отворовала.
 Отняла. Обняла. Пригвоздила.
 Очаровала. Заговорила. К себе прирастила.
 Приманила. Приклеила. Прикарманила.
 Причародейничала. Прихулиганила.
 Заманила тебя. Заарканила.
 Замутила взор. Сердце ранила.
 Затуманила тебя. Задурманила.
 Закружила тебя. Зашаманила.
 Завладела тобой, заобьятила,
 Ошалела, от счастья спятила,
 Так любила тебя, расцеловывала,
 Растворялась в тебе, разбаловывала...
 Ликовала, дуреха, радовалась,
 Все прощала тебе, все обманывалась,
 Перевозвысила, превознесла, преувеличила,
 Перенежила, перезаботила, перевеличила.
 Переласкала. Перемолилась. Перехвалила.
 Переэгоистила. Перемиловала. Перехранила.
 Перестаралась. Переуютила. Переоценила.
 Перегорела. Передумала. Перелюбила.
 Перечеркнула. Пересмеяла. Перенесла.
 Все побросала. Все прогадала. Все продала.
 Предала. Променяла. Пропела и пропила.
 Проворожила. Проколдовала. И прогнала.
 69

АНАТОЛИЙ ВАЙНШТЕЙН,

Париж

МЕДНАЯ ПУГОВИЦА

— Парик, камзол, медные пуговицы — похвально. Вы никак на карнавал собрались или просто решили нас подурачить? — произнес выбритый наголо, до зеркального блеска, господин, похожий на композитора Сибелиуса, но не Сибелиус.
 — Мой повседневный костюм. Я всегда так одеваюсь.
 НЕ-СИБЕЛИУС. Ну ладно. Нас за простаков держите — ваше дело. А напрасно. Нам было бы, о чем поговорить. То, что вы нам решили показать, небезынтересно. Но боюсь, разговора не получится, пока вы разыгрываете эту комедию.
 — Но я бы начал с другого, — перебил его седобородый господин с густыми бровями, похожий на Брамса, но не Брамс. — Значит, вы утверждаете, что обе партитуры — дело ваших рук? Но почему нельзя было просто, без этой, извините, нелепой мистификации, прислать к нам на кафедру ваши опусы, а не подсовывать их неведомым образом? Прихожу в кабинет — лежат, видите ли, на рояле две папки. Подписано: В. А. М. Кто такой? Что за манеры? По крайней мере, это невежливо...
 — Не понимаю, что вы называете мистификацией.
 НЕ-БРАМС. Но вы даже не оставили номер телефона или адрес

какой — на что вы рассчитывали?

— Ведь я сам пришел.

НЕ-СИБЕЛИУС. Спасибо — ошастливили! Но у нас строгое правило — присылать свои конкурсные работы только по почте.

— О, слишком долго — на это могли уйти годы, если не столетия.
70

НЕ-СИБЕЛИУС. Вы видите, мы делаем для вас исключение, несмотря на ваше не вполне адекватное поведение. Более того, меня, признаюсь, заинтересовал ваш «Квнтет» — довольно оригинально по составу и свежо по мысли. Вполне в духе последней волны авангарда. Но мы ничего о вас не знаем — кто вы, откуда?

— Благодарю, мне очень лестно это слышать. То, что вы говорите о «Квнтете», признаюсь, очень неожиданно для меня. Но, по правде говоря, это я просто так, шутки ради. А скажите, симфония № 42 — вот ее-то мне очень хотелось показать. Что вы думаете о ней?

НЕ-БРАМС. Вы хотите сказать, что перед тем уже успели написать 40 и одну симфонию?

— И кучу опер, концертов, квартетов, реквием, наконец — всего не упомяну.

НЕ-СИБЕЛИУС. Ага, я вас, кажется, понял. Но тогда, если вы решили ломать из себя Моцарта, то, по крайней мере, должны бы знать, что последняя *ваша* симфония «Юпитер» значится под № 41.

— Моя любезная женушка, Констанца, видела у меня наброски к этой 42-й. Но потом, когда овдовела, по неряшливости, очевидно, их затеряла, а, может, отдала Грюссмайеру со всеми бумагами. Бог с ней. Она многого натерпелась. Но если бы рукопись сохранилась, вы бы поняли, что партитура моей симфонии подлинная. Я обдумывал эту музыку в одно время с «Реквиемом». Но, увы! — ко мне не один раз уже приходил человек в черном — и я не успел...

НЕ-БРАМС. Что так?

— Обстоятельства: зимняя слякоть, тяжелая простуда, да и кладбищенский сторож напился как свинья и ничего не помнил — а на следующий день и сам помер. Но для меня это была единственная возможность уйти так, чтобы никто не смог потом показать пальцем на каменную плиту и сказать: вот здесь покоится Моцарт. Меня передергивает, как представляю себе эту тяжесть на моей груди! А так — исчез в безымянной могиле, как испарился. Короче, Сальери тут ни при чем.

НЕ-СИБЕЛИУС. Мне неловко вам говорить, но ваша 42-я, судя по отзыву моего коллеги, никак не тянет на Моцарта, хоть вы и пы-
71

таетесь придать себе сходство с этим великим человеком. И чего вы хотите добиться, не понятно. Я бы на вашем месте так не рисковал — всякий розыгрыш хорош, пока веселит, а тут, поверьте, уже не смешно.

НЕ-БРАМС. Да, дорогой, насчет 42-й симфонии — это вы уж погорячились. Никому еще не удавалось воспроизвести стиль великих Венцев. Я, признаюсь, сам когда-то грешил. Играл в классику! Так, казалось бы, все на слуху, что бери и сочиняй — все само собой получится. Довольно бойко подражал, но понял раз и навсегда — недостижимо! Недостижимо, голубчик! Мои седины позволяют вам это говорить прямо в глаза. И не беритесь впредь — мой вам совет.

— Я просмотрел кое-что из того, что вы написали в подражание нам, венским композиторам. Знаете, вам неплохо это удалось. На удивление. Но, вы правы, подлинности недостает.

Если вы не против, я покажу свой вариант сонатной разработки.

Идемте к роялю!

НЕ-БРАМС. Дорогой мой, скоро выходит третье издание моего двухтомника, посвященного как раз XVIII веку. Неужели вы думаете, что меня можно чем-то удивить?

— Вот-вот, в вашей стилизации все слишком надуманно — больше от эрудиции, а не от вдохновения, не от сердца, потому так мало изящества. Но и понятно — вы не жили в XVIII веке.

НЕ-БРАМС. И очень сожалею о том. Но можно подумать, вы жили.

— Как сказать. *(Достает кружевной платок и вытирает вспотевший лоб.)*

НЕ-БРАМС. Кружево, я смотрю, у вас действительно тонкое. Из театрального реквизита, полагаю?

— О нет, это моя покойная кузина Мария Анна вышила мне в подарок, царство ей небесное.

НЕ-СИБЕЛИУС. Та самая, которой вы писали непристойные письма?

72

— Мы были без ума друг от друга. А если б вы слышали, что она мне говорила, сгорели бы со стыда. Вы начитались романтиков. XIX век такой невыносимый! А в наше время, когда влюблялись, то начинали говорить друг другу непристойности — это же так естественно!

НЕ-БРАМС. А вы, как я понимаю, насмотрелись дурацких фильмов, где великого композитора превратили в шута и бросили на растерзание нынешней черни. И вы пытаетесь по этим поделкам воссоздать образ одного из гениев человечества! Стыдно.

НЕ-СИБЕЛИУС. Подождите, коллега, раз уж нас втягивают в эту игру, давайте все же поговорим о партитурах нашего забавного гостя.

НЕ-БРАМС. Но он нам даже не представился. Ну, хорошо, положим, он автор, и что с того?

НЕ-СИБЕЛИУС *(обращаясь к автору)*. Знаете, мне пришла в голову идея. Мы могли бы предложить вашу музыку на осенний фестиваль в Зальцбурге. Согласны?

— Вы имеете в виду 42-ю симфонию?

НЕ-БРАМС. Да оставьте ее в покое! Речь может идти только о «Квинтете».

НЕ-СИБЕЛИУС. Я внимательно просмотрел ваш «Квинтет». Вторяю, написано очень изысканно, абсолютно современным языком и, главное, оригинальный состав. Это то, что нам нужно. Мы давно искали что-то в этом роде.

— Но я должен повторить, это так — шалость, мне хотелось хоть как-то подобраться к вашей музыке и понять, что вы называете авангардом.

НЕ-СИБЕЛИУС. Вам это неплохо удалось. Но потому не стоит больше морочить нас и утверждать, что вы из XVIII века. Обшлага с медными пуговицами, кружевной платок и парик вам к лицу — но знать меру никому не мешает. По вашей же теории, вы бы не могли воспроизвести стиль XX века, если бы не жили в нашем XX веке. Словом, заигрались.

73

— Но я и в XIX веке не жил. Хотя я восхищаюсь Шопеном и Шубертом, да и Брамсом и Григом. Но, признаться, у меня тоже ничего не получилось, когда я попытался в подражание им создать что-то достойное. Никуда не денешься — время другое...

НЕ-БРАМС. А всерьез подражать композиторам XX века не про-

бовали?

— О, я в восторге от Стравинского — его «Пульчинелла» с таким пикантным душком — настоящий деликатес. И, конечно, Прокофьев — это что-то! Пальчики оближешь!

Но когда я в детстве пробовал шалить и гримасничать в музыке, как он, отец драл меня до синяков. Пришлось соответствовать — бароны да курфюрсты всегда напускали на себя важность, а мне приходилось изображать вундеркинда. Но если честно, единственная у вас музыка, которой бы я хотел научиться подражать — это...

Ну... когда несколько музыкантов импровизируют на известную тему — это ужасно весело.

НЕ-СИБЕЛИУС. Вы хотите сказать, что вашему уху слово «джаз» непривычно?

— Никак не запомню: джаз?.. — Жаль, в наше время такого еще не знали, хотя импровизировать умели все поголовно. А вот ваш авангард просто удрочает. Может, я не дорос еще, но если честно, то, что вы называете музыкой, не окрыляет душу, не очищает, а наоборот, только отражает и множит тот хаос, что всегда гнездится в нас самих. Вы ему открыли дорогу — но ведь к этому не тянет вернуться еще и еще раз, как к мелодиям нашего Глюка или того же Шумана. Я понимаю, вас не было другой возможности — как вы говорите, логика развития, новое мышление, туда, сюда, пятое, десятое — а музыка страдает.

НЕ-БРАМС. Но были еще Шостакович, Бриттен, Барток, наконец?

— Тяжесть, тяжесть! Как можно жить с таким чувством, быть погребенными под такой тяжестью, которую испытывали эти замечательные мужи?

НЕ-СИБЕЛИУС. Но как тогда вам удалось написать совершенно современный «Квintет»? Вы что, изучали Веберна, Штокгаузена, Булеза?

74

— Помилуй бог! Я же сказал — это дурачество, шутка, провокация, по-вашему. Поначалу я пытался понять, что вы там высиживаете с умным видом. Я бы за такое время нового «Фигаро» сочинил. А потом плюнул. После выпитого на одной вечеринке знаете, что я сделал? У меня на клавинодах стопка старых нот — Скарлатти, Сальери, Гайдн. На меня вдруг что-то нашло и я сверху множество раз проткнул всю стопку насквозь — шилом, что для сшивания бумаги. И потом ноты, которые, как куски телятины для жарки, нанизались вместе, соединил в одно созвучие.

НЕ-БРАМС. А длительности как же?

— Еще проще. Набрызгал потом воды и чуть наклонил нотный лист. И когда струйки застыли, длина чернильных потеков стала для меня обозначать длительности. А дальше — немного изобретательности, и дело сделано... Впрочем, уже время — пойду, пожалуй.

НЕ-СИБЕЛИУС. Мы же еще не договорились об исполнении вашей музыки! Неужели вас это нисколько не интересует?

— Да бог с ней.

НЕ-БРАМС. Зачем же вы приходили тогда?

— Вы меня позвали.

НЕ-БРАМС и НЕ-СИБЕЛИУС.?

— Ну, не вы лично, но ваша, так сказать, эпоха. Тоска по тихой, ласкающей душу мелодии — страшная тоска! Она просто разлита в воздухе. Воистину, безмолвный крик о помощи. Разве я мог не прийти?

НЕ-БРАМС. Должен вам сказать, вы прекрасно вошли в роль.

Ничего не скажешь... Ладно, партитуру 42-ой вы уж забирайте, а

вот «Квнтет» советую оставить — вдруг и вправду вас ждет успех? — Поверьте, славы мне и так хватает, а ноты тащить не с руки. Можете оставить на память обе партитуры — или, если хотите... засуньте их себе в задницу. Пардон. Вот ведь не знаешь, что от самого себя ждать! Это я, видно, процитировал письмо к кузине — кажется, от 19 марта 1787 года. Там, правда, было еще кое-что ...

75

НЕ-БРАМС. С нас вполне достаточно.

НЕ-СИБЕЛИУС. Творческих успехов, дорогой Вольфганг Амадей! Только советую с вашим париком и камзолом быть поосторожнее — хулиганья на каждом шагу.

— Был искренне рад. *(Надевает треуголку и исчезает в дверном проеме.)*

НЕ-БРАМС (НЕ-СИБЕЛИУСУ). Что скажешь?

НЕ-СИБЕЛИУС. Знаешь, мне что-то не по себе от этого маскарада. Давай поужинаем где-нибудь.

НЕ-БРАМС. Хорошая идея.

НЕ-СИБЕЛИУС. А ты уверен, что его 42-я симфония ничего не стоит?

НЕ-БРАМС. Типичная эпигонская подделка. Это видно уже по первым тактам — мне было вполне достаточно. Можешь сам убедиться — вон возьми на рояле и посмотри на досуге.

НЕ-СИБЕЛИУС. Черт! Мы опять не взяли его адрес, телефон. Да и как звать его, в конце концов?

НЕ-БРАМС. Не думаю, что нам его имя пригодится.

НЕ-СИБЕЛИУС. Где, говоришь, на рояле? Но здесь ничего нет. Только вот — две стопки нотной бумаги. Совершенно чистой. И больше ничего!

НЕ-БРАМС. Чистая бумага? И все? Что за бред! Я сам обе партитуры положил на рояль.

НЕ-СИБЕЛИУС. И вот еще — медная пуговица... Как на его камзоле. *(Разглядывает пуговицу, читает.)* — В. А. М. Ты что-нибудь понимаешь?

08.2010

76

РУДОЛЬФ ФУРМАН,

Нью-Йорк

МОЙ ПАРИЖ

Еще в детстве и юности он вошел в мою жизнь из французской литературы. Сначала это были Перро, Гюго, Дюма, потом Золя, Бальзак, Стендаль, Флобер, Мопассан, Ренар, за ними Роллан, Арагон, Базен, Саган, Сартр, Экзюпери, Триоле... Были и не французы — Хемингуэй, Ремарк... А еще из великих фильмов 50–60-х гг. с участием Габена, Синьоре, Монтана, Денев, Жирардо... И из неповторимого французского шансона. И, конечно, художники, такие классики, как Корро и Энгр, импрессионисты и постимпрессионисты — особо мной любимые поэты кисти — Монэ, Мане, Писсаро, Сислей, Ренуар, Дега, Матисс — открыли мне свой неповторимый Париж.

Еще в начале шестидесятых, будучи студентом, я написал стихотворение о своих пяти желаниях, одним из которых было «...увидеть сказочный Париж, / но до сих пор я на картинах, / или в кино смотрю мгновенья лишь...» Это юношеское, романтическое и несбыточное желание через более чем двадцать лет приобрело реальные черты в результате крушения СССР, и в 1997 году — «конечно, не ради пре-

стижа, /а только по зову души, /я в позднюю осень Парижа, /как в Мекку, вояж совершил...» Это была первая в моей жизни поездка за границу.

Пять дней, без французского языка, один, сутками напролет я бродил по осенним парижским улочкам и бульварам, набережным Сены, побывал в Лувре и Д'Орсе, домах-музеях Родена и Гюго, Доме инвалидов и Пантеоне, забирался в музей Триумфальной арки, посетил могилу Аполлинера на кладбище Пер-Лашез, искал и нашел на Монпарнасе литературные кафе «Куполь» и «Ротонду», посидел в Люксембургском саду, покопался на знаменитых книжных развалах. Ночами возвращался счастливым в свой одно-местный номер дешевой гостиницы на Монмартре, чтобы через два-три часа сна снова шагать по городу и узнавать то, о чем читал, видел на картинах художников, смотрел в кино. При этом меня не покидало чувство нереальности происходящего. Ощущение города и мое самоощущение в нем было поразительными — мне казалось,

77

что я уже был здесь, жил в этом городе в какой-то другой жизни. Радость узнавания и познания переполняла мою душу и выливалась в стихи. За эти пять дней я написал цикл стихотворений, который назвал парижским.

С одним стихотворением из этого цикла я случайно встретился через год, когда приехал в петербургское турбюро «Нева», чтобы купить для себя и жены билеты в Париж. Какого было мое удивление, когда мне дали проспект агентства, который открывался стихотворением из моего парижского цикла. Никто из сотрудников агентства не смог мне объяснить, как оно туда попало, но все пожимали мне руку как автору.

Итак, через год я снова побывал в Париже, но уже вместе с женой, для которой был экскурсоводом, и которая, как и я, влюбилась в него безоглядно.

Это было в 1998 году, до эмиграции в Америку, в Нью-Йорк, где мне как сотруднику «Нового журнала» — старейшего толстого литературного журнала русского зарубежья — лет через десять повезло познакомиться заочно с его авторами-парижанами: поэтом Виталием Амурским, писателями Аррой Мусаяном, Николаем Боковым. С Виталием и Аррой у меня завязалась переписка, которая продолжается до сих пор.

И вот, в 2010-м, поздней осенью, я вновь оказался в Париже, где меня тепло встретили мои заочные друзья и где я познакомился с такими известными парижанами, как писатель Владимир Загреба, художник Николай Дронников, фотограф Владимир Сычев, где мне предоставили возможность выступить со своими стихами перед русскими парижанами на вечере парижской ассоциации «Глагол». Париж и на этот раз остался верен себе — он и парижане вновь подарили мне праздник, который, по словам Хемингуэя, «всегда с тобой».

78

Перерыв

«...умеете домолчаться до стихов».

Мария Петровых

Я отстранюсь на день или на два
от всяких дел. Какие там дела? —
усталость давит, шевелюсь едва
и что-то на душе моей неладно,
не пишется — уже давно молчу,

по поводу, без повода ворчу, —
и не пойму, чего же я хочу, —
характер мой испортился изрядно.
Знать стала суета не по плечу.
Пожалуй, телефоны отключу
и дверь закрою, и о всем за ней
забуду я на пару этих дней,
залягу с книжкой на своем диване,
а значит время проведу в нирване,
чтоб новых сил набраться, стать мудрей
и окунуться в бучу жизни снова,
и чтоб строка к строке и к слову слово,
незамечая ни часов, ни дней,
сложились в ямб, а может быть, в хорей...
В конце концов, какого бы размера
ни вышел стих, была бы в нем душа, —
она всему гармония и мера,
а без нее не стоит стих гроша.

Прощальная прогулка

Пока нетерпеливый ветер
дыханием спокойным дышит,
не рвет листву с осенних веток,
а стережет ее, как дичь,
определяя по приметам —
срок осени еще не вышел, —
и выжидает будто сеттер,
когда ее врасплох застичь.
Пойдем, пройдемся по аллеям,
Подышим горечью осенней,
79

Пока пропитан воздух ею,
а ветер сдержан, но едва.
Пойдем, пройдемся, поглазеем
до эры жертвоприношений,
Пока, на ветках пламенея,
Еще живет, живет листва.

* * *

От времени, текущего из тьмы,
я ничего не буду брать взаймы,
мне до конца бы разобраться с этим,
которое даровано судьбой,
где все есть, что прописано в сюжете,
и тот же свет в чередованье с тьмой,
и чувства, что переполняют душу,
и те, что вырываются наружу
и те, сдержать которые могу,
и те, что для себя я берегу.
В нем нету недостатка, нет избытка,
в нем ровно столько, чтоб судьбу прожить...
А встретила бы золотая рыбка,
не стал бы ни о чем ее просить.

* * *

Пионов томленье в букете.
Их царскую роскошь и лень
в вечернем приглушенном свете
не в силах скрыть сумерек тень.
И утром, лишь веки размежишь,

отметишь под пение птах,
 что та же вальяжность и свежесть
 лежат на мохнатых цветах.
 И нежности их, и кипенью
 я дань бы в этюде отдал,
 да только писать акварелью
 Создатель таланта не дал.
 Но как передать впечатление,
 и как от забвенья сберечь
 короткое время цветенья,
 немую цветочную речь?

* * *

80

Аре Мусаяну

В Париже ночью выпал первый снег,
 шел в темноте он, будто опасался —
 едва начав, остановил свой бег,
 и в городском пейзаже затерялся.
 Он, оказалось, только наследил,
 он намекнул лишь о своем приходе,
 он выбрал не совсем удачный стиль,
 а впрочем, это стало нынче в моде.
 А утром город недоумевал,
 он был готов принять снегопадение,
 он даже жаждал справить белый бал,
 а получилось недоразумение.
 Тогда как осень удалилась в срок, —
 надоедать не стала парижанам,
 ушла на юг, но север и восток
 оставила на откуп снежным кланам.
 Но, судя по всему, среди них разброд
 и распри, потому и не решили,
 кому из них обрушить на народ
 весь снег, что целый год они копили.

Вечер на Монмартре

Лиле Завадовской

с благодарностью

Все было реальным, ни капли театра,
 нам был этот вечер подарен судьбой, —
 мы в сумерках зимних по склонам Монмартра
 бродили неспешно, плутали с тобой.
 Как истый фотограф своим аппаратом
 снимала меня ты, чтоб запечатлеть.
 Мне было тепло от того, что ты рядом,
 в Париже, где душу хотелось согреть.
 О многом, о жизни с тобой говорили,
 и был соглядатаем местный пейзаж,
 художники местные что-то творили,
 гармошка «славянку» играла для нас.

81

И шли мимо нас по делам пешеходы,
 машины скользили, а мы, не спеша,
 все шли, вспоминая минувшие годы,
 друзей, и родных... и теплела душа.
 И свет фонарей и витрин на бульварах,
 от сумерек мягко пейзаж отмывал,
 и звезды горели на зимних развалах,
 и ангел парижский над нами летал.

Парижский туман

Туманно в воздухе парижском.
 Лениво падает листва.
 И теплый вечер робок слишком,
 Он сам шевелится едва.
 И вот размеренно, без спешки,
 С бульваров, крыш и куполов,
 Туман, не чувствуя поддержки
 Уходит вверх... И был таков.
 И в этом не было жеманства.
 И проступают дня черты...
 Освобождается пространство
 Для шума, света, суеты.

Дождь в Париже

Он неожиданно пролился,
 Он был послем парижской музыки.
 Шел пять минут и... извинился.
 Он был галантен, как французы.
 Толпа прохожих поредела,
 И в воздухе запахло сладко,
 И под ногами заблестела
 Веками тертая брусчатка.
 И в мокрых сумерках Монмартра
 Огнями улочки светились.
 И с городом Золя и Сартра
 Мы в этот вечер породнились.

82

Парижская осень

Лежала листва на бульварах,
 В Тюильри, в Люксембургском саду,
 Вдоль Сены, на книжных развалах,
 Лежала у всех на виду.
 И точно как в городе невском,
 Все путалась в наших ногах
 Тем вечером, в свете нерезком,
 Что на Елисейских полях.
 Пел ветер парижские гаммы,
 Мы слышали каждый свой шаг.
 Шуршала листва под ногами,
 Как дома, конечно же, так.
 И вечер был к нам расположен,
 И наполнилась грустью душа...
 Стояла парижская осень,
 Всему придававшая шарм.

* * *

Вдоль дороги подтаявший снег,
 Длинноногих дерев галерея,
 Солнца низкого по небу бег —
 Этот зимний пейзаж для Сислея.
 Он треножник поставил бы здесь
 И смотрел с восхищением в оба
 На крутой этот белый замес,
 На рисунок домов и сугробов.
 Он бы кисти и краски достал,
 Самым лучшим отдав предпочтение.
 Он бы так этот день рисовал,
 Чтоб свои передать впечатления.

Он истратил бы силы, и пыл,
Он вложил бы талант весь и гений,
Чтобы холст эту роскошь вместил,
этот свет, эти блики и тени.

83

Ах, как жаль, что Сислей не придет,
Здесь и света, и воздуха — море!
Скоро вечер и солнца исход,
День уйдет и забудется вскоре.

* * *

«Ну, как Париж, он лучше Петербурга?»

(из разговоров о Париже)

О, как бы восхитителен ты ни был,
И как бы удивителен, Париж,
Но Петербург, с его свинцовым небом,
С его Невой, прости мне, не затмишь.
Да, в мире нет блистательней рисунка
Его мостов, проспектов, площадей!
Но только ты — светлее Петербурга,
Но только ты, Париж, его теплей...

84

ВИТАЛИЙ АМУРСКИЙ,

Париж

В ЕГО СТИХАХ ШЕПТАЛИСЬ ВЕТРЫ БРЕТАНИ

Штрихи к портрету Э. Гильвика

Эжен Гильвик... Вижу перед собой доброе, широкоскулое лицо, окаймленное седой шкиперской бородкой; вижу умные, пронизательные глаза за стеклами очков... Он сидел в своем рабочем кабинете, за письменным столом, где почти не было свободного места из-за книг и бумаг; впрочем, книги занимали значительную часть комнаты, располагаясь на полках и даже на полу.

Моя единственная встреча с ним состоялась в Париже декабре 93-го года. Я приехал к далеко не молодому известному французскому поэту, чтобы взять у него интервью для своей передачи «Литературный перекресток»¹. Но уже на месте понял — желаемой записи не получится. По одной простой причине: страдающий болезнью горла, Гильвик говорил с большим трудом, очень-очень тихо... Тем не менее, встретившись с мастером, я не хотел упустить возможности хотя бы чуточку ближе узнать его самого, услышать из первых уст рассказ о себе, о своем творчестве. Несмотря на то, что магнитофон во время этой беседы был включен, мы оба словно забыли о нем. И вот относительно недавно, прослушав ту старую, совершенно непригодную для эфира, но все же при внимательном прослушивании вполне различимую запись, я опять как бы пережил замечательные два или три часа в его компании...

Вспоминая — в русском переводе:

Прости меня, море,
Если осколок булыжника,
Подобранный на дороге

¹ Имеется ввиду передача, которую я вел много в русской редакции Международного французского радио (RFI). Многие беседы с русскими и французскими писателями, поэтами, представителями культуры вошли в книгу: Виталий Амурский, «Тень маятника и другие тени. Свидетельства к истории русской мысли конца XX — начала XXI века», изд. Ивана Лимбаха, СПб, 2011.

Или на узкой тропинке,
Иногда мне милее
Твоей отшлифованной гальки. —
я хотел понять родословную этих строк. Родословная эта двоилась,
ибо у булыжника и гальки, несмотря на их древний возраст, мало
общего. Слушая же поэта, я ощущал иное. Между пыльными город-
скими и чистыми морскими камнями возникла некая особая связь.
Связью этой, как я понял, служила его собственная биография.
Родившись в Бретани, в городке Карнак, в августе 1907 года,
Эжен с детства полюбил скалы, о которые разбиваются океанские
волны; полюбил дикие цветы и травы, запахи водорослей, крики
чаек... Позднее, покинув берег Атлантики, поселившись на другом
краю Франции, вблизи бельгийской границы, что было вызвано во-
енной службой отца, мальчик не раз вспоминал оставленный край. Но
новый, не имеющий ничего общего с океанским, пейзаж также стал
для него привычен — пейзаж с соснами, с деревенскими дорогами...
Еще позднее семья Гильвика переехала в Эльзас, где также были
прекрасные леса, красивые дороги и не менее замечательные озера.
Это тоже была граница — на сей раз со Швейцарией.
Время брало свое — и места детства, юности впечатывались в
сознание. Морская галька становилась столь же дорогой, как бу-
лыжники. По собственным словам поэта, вплоть до 1926 года, то
есть фактически до 19 лет он не знал французского языка. В его
окружении говорили сначала по-бретонски, потом по-валлонски, а
потом на очень специфичном немецком языке Швейцарии. Лишь
начав военную службу, он по-настоящему освоил французский язык.
Впереди его ждала долгая 40-летняя служба в финансовом ведомстве,
где (казалось бы) нет и не может быть места живому слову. Но — вот
парадокс — тянувшийся с юных лет к чтению, влюбленный особенно
в Лафонтена, Гильвик, — как он мне рассказывал, — полюбил казен-
ную лексику своего ведомства за точность, за отсутствие лишних
эпитетов. И в этом отношении она — внешне бездушная — оказала
важнейшее влияние на все его творчество.
О чем писал Гильвик? Прежде всего, в поэзии его постоянно при-
сутствовала природа — земля, солнце, вода, камни, деревья, птицы,
ветер и тому подобное. И всегда присутствовала душа человека, от-
крытого этому миру, влюбленного в него. Поздний Гильвик — это
поэт, чьи стихи по краткости и емкости ближе всего к японским
хайку:

86

У птицы в горле
Хранится
Верность
Грядущим
Веснам.

Другой пример:

Ни движенья, ни ветра, ни птицы.
Одна только ночь на земле.
Только отсутствие шума медленно бьется во мгле.
Вот еще:

Кто-то поет —
Тишина, наверно.
За спиной тишины
Кто-то рыдает.
Это, должно быть,
Тоскует время.

Между тем, представить себе автора этих и других схожих по духу

стихотворений таким затворником, тихим конторским служащим, который в свободное время только тем и занимается, что прислушивается к шуму ветра или разглядывает травинки, стараясь запечатлеть свои чувства от услышанного и увиденного на бумаге — было бы неверно. По натуре Гильвик был отнюдь не отшельник. Нравнодушно следил он за ходом гражданской войны в Испании, переживал, как миллионы простых французов, поражение республики. Как личную драму воспринял фашистскую оккупацию Франции. В тяжелом 1942 году он стал бойцом Сопротивления, тогда же вступил в ряды компартии. Не забудем — в тот период стать коммунистом было актом особого мужества. Это значило — рисковать жизнью.

С гордостью говорил Гильвик, как сообщил о своем вступлении в ряды ФКП Арагону, с которым был связан дружески, и как приятно был удивлен известный поэт и писатель. Кстати, первую свою книгу — «Терраке» Гильвик опубликовал в издательстве «Галлимар» в том же 1942 году. С годами число его поэтических сборников превысило два десятка, если же добавить к ним многочисленные коллективные издания, а также переводы его произведений на другие языки, то из этого собрания оказалось возможно составить немалую библиотеку. В России одним из тех, кто старался донести его поэзию наиболее полно, точно, музыкально осмысленно был прекрасный

87

мастер перевода Морис Ваксмахер. Именно к его переводам я обратился выше, цитируя французского мэтра.

Вступление в ряды ФКП для Эжена Гильвика не было лишь актом мужества. В военные, а затем в первые послевоенные годы он пытался найти связь между словом поэтическим и политической ангажированностью. Впрочем, постепенно такие настроения гасли, и место политики отдавалось вещам более значимым — символам природы, их роли в жизни человека. Тесно связанный с Эльзой Триоле, Гильвик в середине 60-х годов принял участие в работе по подготовке двуязычной франко-русской поэтической антологии, которую составила писательница. В этой знаменитой антологии русской поэзии, известной как антология Триоле¹, были опубликованы его переводы Крылова, Дениса Давыдова, Батюшкова, Дельвига, Боратынского, Кольцова, Фета, Некрасова, Аполлона Григорьева, Апухтина, Иннокентия Анненского, Гумилева, Ахматовой, Веры Инбер, Эренбурга, Тихонова, Кирсанова, Павла Васильева, Слуцкого и Виктора Сосноры... Уже этот перечень достаточно красноречиво показывает диапазон интересов Гильвика, его внимание к русской литературе, к русскому слову.

Поистине личной драмой явилось для него, как для многих честных французов, веривших в левые идеи, советское вторжение в 1968 году в Чехословакию. С этого времени он все больше отдаляется от ФКП. Иначе быть не могло, ибо Гильвик был человеком высокой нравственности.

Возвращаясь к переводам его поэзии, можно отметить, что она появилась на пяти десятках разных языков мира. Среди полученных им наград особенно почетными можно считать *Grand prix de poésie* (Большой приз Французской академии) в 1976-м и *Grand prix national de poésie* (Большой национальный приз за поэтическое искусство) в 1984 году.

Скончавшийся в 89-летнем возрасте в Париже, в 1997 году, Эжен Гильвик, несомненно, останется одной из крупнейших поэтических фигур Франции второй половины XX-го века. Мне же особенно дорогой памятью о нашей встрече остается подаренная им книга

Maintenant² («Теперь»)...

Открываю ее — и словно слышу шум моря, ветра, улавливаю запахи цветов и трав... Всего того, в чем растворилась душа поэта.

¹ La Poésie russe. Anthologie. Edition Seghers, Paris, 1965.

² Guillevic. Maintenant, poème. NRF/Gallimard, 1993.

88

ЛЮДМИЛА ЛАМБОЛЕЗ,

Париж

ИСТОРИЧЕСКИЕ ФАНТАЗИИ

Лиловый лиф

Сквозь окна дворца уныло глядя на треуголки немцев, морды коней, черного ворона, вспорхнувшего над обледенелым шпилем ограды, крыша кареты засыпана снегом, маленький мальчик, одетый как иностранец, трет замерзшую щеку. Доносится запах дичи, поставленной на громадный дубовый стол, слышится звучанье фарфора. Темно-зеленый шелк, заколотый брошью, обнимает длинную шею. Прядь парика ложится на ворот камзола. Холод перстня скользит в бахrome толстой шторы, голландское кружево нежит тонкие пальцы вельможи, безразличного к своей красоте.

Тяжелый каблук нажимает на доски паркета.

Его голова резко склоняется вниз, обнажая иглы ресниц. Рот застывает в изгибе придворной улыбки.

Перчатка лакея золоченою ложкой подает красный соус. Сверканье сапфира сливается с цветом глаз стареющей дамы, звенящей ножкой бокала о край ажурной тарелки. Проносится анекдот. Напудренный бюст вздымается в смехе. Неподвижный взгляд, согретый желанием, вонзается в душу. Нога холодеет под тканью чулка, надоевшего своей белизной.

Мех горностаевой мантии гладит ступени лестницы красного дерева. Открываются двери. Канделябры люстр мерцают свечами в зеркале тронного зала. Звучит монотонная речь посла. Седые редкие волосы канцлера свисают со лба; измятость лица, синева под глазами говорят о пристрастии к алкоголю.

Острые пера рассекает плоскость бумаги. Оглашается новый указ государыни. Фигуры замирают в поклоне.

Юная фрейлина что-то шепчет на ушко подружке, розоватость щеки оттеняет модная мушка.

Этикет утомляет привычною скукой. Шаг куртизана обращает внимание француза. Бой часов разносится эхом повсюду.

Веер карт украшает узкую руку. Горки денег перемещаются с места на место. Императрица понтирует, играя в макао. Лиловый лиф щеголяет алмазом. Старый князь громко чихает, открыв табакерку.

89

Вино расслабляет заморским своим ароматом.

Он вдруг замечает, что завлечен в покои высочайшей особой.

Подняв в удивлении брови, он видит жирные складки обмякшей кожи, расплывчатость форм; на миг леденеет, с ужасом ощущая противную липкость нахлынувшей ночи.

Сплетники

Бывало, часто говорю ему:

Ну что, брат Пушкин?» —

«Да так, брат», — отвечает, бывало, — так как-то все... — Большой оригинал.

Н. В. Гоголь

— Слыхали вы? Ему попала пуля прямо в брюхо. Два дня он

корчился от боли и отдал душу небесам. Жаль, конечно, хорошие стишки писал, особенно в неволе, когда был сослан в свое имение Михайловское, да что стишки — роман!

— А, знаю, я читал про франтика, что так мечтал избавиться от скуки.

— Да разве ж от нее избавишься?.. Вот Пушкин: тот себя развлек — носился с пистолетами с двумя, да вызывал кого ни попадя. Довывывался. Пока д'Антес его убил.

— Чего винить д'Антеса?

— Да говорят, что Пушкин получил письмо, в котором объявлялся *Coadjuteur du grand Maître de l'Ordre de cocus et historiographe de l'Ordre*¹.

— Как будто плюнуть в морду!

— Так говорят, что Пушкин заподозрил автором барона.

— Он при дворе-то важная персона.

— Персона да, была, к тому же педераст.

— Ну, вот те раз!

— И жил-то с молодым д'Антесом, за что того установил. Слыхали? Чего ж искать причин для ревности?..

— Кого? Пушкина к д'Антесу?

— Да нет, барона старого к нему.

— Да что вы?! Ну и ну!

¹ Кoadьютором (заместителем) великого магистра Ордена Рогоносцев и историографом ордена (*фр.*).

90

— *Mais jeune homme qui aime*

Et a respect de soi-même

Et c'est un homme de coeur...

— *Pourtant nous sommes quelles mœurs!*¹ Однако же дуэль...

— Да на дуэль был вызван не д'Антес, а Геккерен, а драться уж пошел д'Антес.

— Вот попутал бес...

— А что ему, не он же был убит, а Пушкин, который вызвал Геккерена за сводничество сына с его женой.

— Какая глупость!

— Вот именно. Но, правда, д'Антес настойчиво за ней ухаживал и первый вызов адресован был ему.

— Так что, их было два?

— Ну да. Но первый был взят назад, поскольку д'Антес женился на ее сестре, на той, что *queue du balai*².

— Однако же, кто автор писем?

— Да, говорят, *bancaïz*.

— Кто? Князь Долгоруков?

— Да, может быть, Гагарин.

— Вот молодежь пошла, без всяких правил.

— Пошутить хотели.

— И дошутились до дуэли.

— Д'Антесу, знаете, попала пуля в руку и отлетела в пуговицу.

— Вот повезло.

— Как будто Пушкину назло. Ведь тот хотел стреляться насмерть и убить француза. Вышло все наоборот.

— А что жена его?

— А что? Прелестный рот. И чудная фигура. Красавица.

— Ну, а сестрица?

— Наглая девица. Представьте, что сказала, уезжая: Пушкину прощаю. Какова?

— Что скажешь?.. Француза очень любила.

— Жаль Пушкина. Такой талант!

— Да только кто же виноват?..

.....
...

Жорж Шарль д'Антес унаследовал титул барона Геккерена (baron Heeckeren) в 1836 г. в результате усыновления его голландским посланни-

¹ Но молодой человек, который любит и имеет чувство собственного достоинства, и это человек благородный. — Но все же, какие у нас нравы! (Фр.)

² Ручка от метлы (фр.) — прозвище Е. Гончаровой.

³ Кривоногий (фр.) — прозвище князя П. Долгорукова.

91

ком бароном Геккереном (Jacob-Théodore-Borhardt Anne von Heeckeren de Beverwaard). Отсутствие всякого кровного родства между ними порождало самые различные догадки по поводу причин столь высокого покровительства. Авторство анонимного письма с намеком на измену жены, полученного Пушкиным 4 ноября 1836 г., ставшего причиной вызова д'Антеса на дуэль (не состоялась по просьбе об отсрочке его отца, а также благодаря стараниям секундантов), осталось неизвестным. Текст пасквиля был написан на бумаге с водяными знаками, бывшей в обиходе голландского посольства, что вызвало уверенность Пушкина в прямой причастности к нему барона Геккерена. Согласно результатам экспертизы, проведенной в Париже в 1861 г. и в Петербурге в 1927 г., оригинал письма принадлежит руке князя П. В. Долгорукова.

Свадьба фрейлины Екатерины Гончаровой с бароном Геккереном состоялась в декабре 1836 г. Поскольку ухаживания его за женой Пушкина заставляли обращать на себя внимание придворного круга, решение о браке приписывалось мотивам, связанным с ревностью Пушкина.

26 января 1837 г. Пушкин написал крайне резкое письмо барону Геккерену, содержащее обвинение в родительском сводничестве сына с его женой. Ответом был вызов Пушкина на дуэль, переданный секундантом д'Антеса. Пушкин имел твердое намерение на дуэли драться насмерть. Последними его словами секунданту противника, виконту д'Аршиаку, были: «Si nous rétablissons tous les deux, ce sera à recommencer» (как только мы поправимся, снова начнем).

Пуля, ранившая д'Антеса в руку, наткнувшись на пуговицу сюртука, ricoшетиrowала, таким образом не нанеся большого ущерба его здоровью. Баронесса Геккерен, старшая сестра Н. Н. Пушкиной, покидая навсегда Россию, произнесла: «Я прощаю Пушкину».

Легенда

Твоим шотландцам было не понять,

Чем койка отличается от трона.

В своем столетии белая ворона,

Для современников была ты блядь.

И. Бродский

А с башни виднелось холодное море, леса и снежные горы, надоевшая взору вода — озеро окружало угрюмый замок Лохливен.

И так же угрюмо в нем тянутся дни. Все заперты звери, все спит до зари. Сегодня Мари подписала пергамент, где себя признавала уставшей от бремени власти, лишь росчерк пера и ребенок, которого носит она, родится без права на высшее счастье именоваться бароном, быть братом или сестрою наследника трона.

92

Мари грустна, как арка на водою. Что ей ниспослано судьбою?

Где муж ее первый, французский король, несчастный Франциск II — он спит в саркофаге и лилии флага уже вдалеке от нее.

Где муж ее верный, Генри Дарнлей, принц крови, шотландский король, наконец-то обретший покой, он в клеп погребен, убитый

жестокой рукой в уединенной усадьбе, чтоб не мог помешать новой свадьбе.

Где муж ее третий, Джеймс Босуэл, отважный генерал и мудрый полководец, храбрый тот вояка (ее не очень-то любивший и столько зла всем натворивший), спешит с Оркнейских островов к границам Дании, и долго будет длиться его изгнание, нет, не слава его ждет, в тюрьме он там с ума сойдет.

Зачем глядите в даль, мадам, что видите вы там?

А помните, поэт был в вас влюблен и на глазах у всех казнен, оставил имя Шателляр, воскликнув вам: «O cruelle dame!»¹

Их было — их и будет много.

Зачем же вы спали с героем, потолкнувшим вас к преступлению?

Признаться, не удивляет Элизабет мнение, считавшей вас dishonoured² (на милость ее и потом уповать вам не стоит). Что написали вы в порыве страсти? «В своих руках он держит в полной власти все: ему я сына отдаю, и честь, и совесть, и страну мою, и подданных, и трон, и жизнь, и душу», — мадам, вы не придумали бы лучше — вам было что отдать, не только тело: оно советов слушать не умело, внимать восторгам лишь хотело.

Пожалели вы мужа хотя бы немного? О чем умолчала дорога, куда увезли его вы из Глазго, больного, попавшего прямо в ловушку? О чем вам шепнули на ушко? В чем вас уверил герцог Оркнейский? Прельстил его сан королевский, а вовсе не ваши лобзанья, — все это имеет название?

О чем грустите вы, Мари, что ждет саму вас впереди? Что гонит вас, мадам, к расплате — герб на печати, роскошь платья?

Пройдет немного месяцев — вновь оживете, себе защитников найдете — лордов Гамильтонов, Сетонов, Хантлеев; устроят вам побег и скоро вы соберете войско — тысяч в шесть, чтобы лишить Меррея, родного брата вашего, возможности правленья, но провиденье не на женской стороне. Битва при Лонгсайде займет не больше часа. На коне спасетесь бегством, проскакав к границе мили девяносто две. И лишь жизнь спасете.

Отныне умный брат с сестрицею в расчете.

¹ Жестокая дама (*фр.*).

² Обесчещенной (*англ.*).

93

Дандреннадское аббатство — последняя обитель государства, а дальше Англия.

Вы пишите Элизабет и шлете перстень — знак дружбы между ней и вами (которая слыла лишь лишь на бумаге), просите ее принять вас в Вестминстере. Да, конечно, нужно время, чтобы что-нибудь придумать. Но и она не дура: принять вас ко двору — ту женщину, которая ее красивей, ту, которая претендовала на английскую корону, — столь опасную персону ей видеть вовсе ни к чему.

И отошлют вас в Йорширское братство, в укрепленный замок, чтоб не могли оттуда вы ступить ни шага.

Два суда над вами: при последнем достаются письма из ларца — те самые, где вы писали о чувствах к лорду Босуэлу и где вовсе не скрывали того, что следовало бы скрыть. Вы отрицали все *en bloc*¹, но тут никто вам не помог.

Вам предлагали от короны отказаться, но с нею вы не мыслили расстаться, вас ждет трагический конец — за право надевать венец. Элизабет завидовала вам — на то достаточно причин: она любила Англию, а вы — мужчин.

Все ваши замыслы постигнет крах, от бездарных дней, ночей

проснется женский страх, вы будете стареть и молча горевать, и на парче узоры вышивать, а вместе с ними то, что сердце подсказало: «В моем конце мое начало». А началом станет казнь.

Вы все ближе, ближе к плахе. При дворе французском не доведется больше вам блеснуть лицом, умом, фигурой; раздосадованный Карл IX вас назовет несчастной душой, скажет: «Я попросту не знаю, чем тут помочь».

Помочь? Элизабет вам помогла. Уолсингем — министр полиции (отдать необходимо должное таланту) нашел двух провокаторов. Имя Гиффорд было у одного из них. И королева Англии его очень щедро наградит: в сто тысяч стерлингов назначив пансион.

А кто виновник заговора? Дворянчик Бабингтон — в одно ваше имя, Стюарт Мария, он будет влюблен, загублен вами и казнен.

О наивность Бабингтона! Они погибли, шесть юных мальчиков, за вас, — и проклятье снова таит в себе шотландская корона. Провокаторы старались завлечь их — целью были вы — в жестокий заговор (посредством множества приемов: писем, встреч, свиданий с Мортон², подлогов) — и завлекли. Вы им дадите письменно свое согласие. ¹Всем списком (*фр.*).

²Мортон — генеральный уполномоченный в Париже при католическом конспиративном центре Филиппа II, испанского короля, и Марии Стюарт.

94

на устранение Элизабет. Я думаю, она послала вам прощальный свой привет, когда бумагу подписала — ваш смертный приговор. Вас ждет топор, ее за эту казнь (в наших глазах) — позор.

Итак, Фотерингей.

В просторном зале замка уготовлен эшафот. Вы вынете батистовый платок, которым и завяжут ваши нежные глаза. И палач, склоня колени, попросит вас, Мария, о прощении, — за это преступление, что уничтожит вашу плоть.

Кровь брызнет в огненную ткань платья и надетых на руки перчаток. В последний раз, мадам, вы явите свой вкус, одевшись в красный цвет, и что останется в их душах — баронов, лордов, графов — грусть о казненной венценосной Стюарт? Нет, боюсь, одно лишь изумление: особенно в тот злополучный миг, когда с седой, несчастной головы безжалостно слетел парик.

О, Стюарт! Вы казались наваждением, прекрасной королевою, украсившей собой французский двор, где когда-то вступали первой на порог и два года были первой дамой.

Добавить к вашей памяти последний штрих, или этого не надо?..

Карманная собачка с рвением вцепилась в ткани платья и оно зашевелилось...

Такая преданность — великая ли сила? Вашим защитником ведь мог бы быть мужчина.

Но нет, — не мог, не мог, не мог.

Одна вы на коне к чужой границе прискакали, голод, холод испытывали. Вы станете легендой, возвысившись в печали, об этом вы, пожалуй, знали.

А тот поэт, что первым был казнен, загублен вами, о нем с тоскою вспоминали?

Мне кажется, Мари, едва ли.

95

ЛЕСЯ ТЫШКОВСКАЯ,

Париж

«Я С ДЕРЕВЬЯМИ БУДУ ДРУЖИТЬ...»

Стихи

* * *

Полдороги всего осталось
до предсказанной точки бэ.
Замедляет шаги усталость,
заключает слова в пробел.
Если б знать, что в садах остановок
притаились капканы забот,
зависания забастовок
с иллюзорным прорывом вперед,
изменился б маршрут желаний —
отставать, отдыхать, отпевать —
или гонка напоминаний
не давала бы шаг унять
и шансонной походкой куплетов
завершала бы день земной?
Задыхается в липе лето,
как в чужом языке родной.

* * *

От обилья метафор рябит в воспаленном мозгу.
Изначальные смыслы замурованы в плоский мелизм.
Добираясь до сути, не сверни на чужую тропу.
Там ведь тоже довольно своих преломляющих линз.
С каждым годом все больше любимых сжигают мосты.
Память крутит шарманку, но чаще угрюмо молчит.
Горизонт опустел, но случаются всплески весны,
и листва нараспев, и цикады в бессонной ночи.
96

Я с деревьями буду дружить, обнимать их стволы.
Вместе с птицами вить безыскусный весенний сюжет.
И для неба писать — о любви, о любви, о любви.
И смеяться над рифмой, не дающей услышать ответ.

* * *

Не пишется об универсальном —
исторических событиях и
пассионарных личностях,
мировых войнах
и экологических катастрофах,
и даже о мире во всем мире
не пишется.
Все о себе и о себе,
нелюбимой.
— Экая эгоцентричность! —
воскликнут потомки,
уставшие от глобализма
и с удовольствием листающие
чужую жизнь.

* * *

Когда сотрет обида макияж
у зеркала, безжалостного утром,
припомнив свой сумбурный вуаяж
и пыль дороги, смешанную с пудрой,
и дар, что оказался западней,
сплестя слова в невидимые сети,

и приговор: опять идти одной,
не приближаясь ни к кому на свете,
разбуженная болью, как звонком,
душа проснется в пустоте просторной
и утешенья не найдет в другом
заплаканным ребенком беспризорным,
и забытье зеркальное разбив,
припомнит, как в пути покрылась телом,
сокрывшим Слово, сотворившим миф
о Женщине, которой стать хотела.

* * *

97

А было забавно: сойти, не боясь заблудиться.
Не думать о времени, об опозданиях, о тех,
кто, может быть, ждет, но уже согласился на пиццу
в кафе привокзальном — где травят и слезы, и смех.
А сердце так билось, когда опускалось с подножки
и мир незнакомый готовил желанный сюрприз.
Ах, если бы встретить открытье, хотя бы — возможность
и жизнь изменить, как маршрут, без вмешательства виз!
И вот ты стоишь — и кругом ни толпы, ни помех, ни
назначенных встреч деловых и бездельных сполна —
на станции серой... Ее бы скорее проехать...
Но поезд ушел и перрон опустел.
Ты одна.

* * *

Забыть язык — и обрести свой стиль,
в косноязычьи сочном увязая
Примерить категорию «прозаик»,
но посвятить надежде акrostих.
Брести в себя без видимых примет
с фонариком — наследьем Диогена —
и оступаться, выходя на свет,
к потемкам привыкая неизменным.
И наступать на грабли у ворот,
когда уже распахнуто полнеба,
и рифмовать немодно и нелепо,
и невпопад — паденье и полет.

* * *

Я снегопад увидела в лицо.
Он чуть косил и выглядел неважно.
Он угрожал: бросаю ремесло
и возвращаюсь к снежности вчерашней.
Он сетовал: что толку в торжестве,
когда тебя встречать никто не хочет?
Терять лицо, забыв о рождестве,
чтоб оставаться грязью у обочин?

98

Им холодно — они спешат домой.
Мой ритм протяжный им смежает веки.
Они упасть боятся, боже мой,
что за явление — эти человеки!
Я знаю их повадки: спрятать взгляд,
нырнуть под шапку, в шубу иль машину.
И сам бы я от них укрыться рад.
Но нет путей обратных на вершины.
И, в срединный мир препровожден,

Я век свой краткий меряю часами,
Но падаю с напарником-дождем
И насыщаю землю небесами.

* * *

Анастасии

Золотое молчанье течет по венам,
согласуя тело с покоем сонным
Затишают шорохи перемен и
возвращается нехотя время оно.
Ожиданья медленная улитка
с каждым днем весомей в своей надежде.
Набухает раковина, и ошибка
невозможна — та, что случалась прежде.
Кто-то смотрит сверху и ждет решенья —
воплотиться или остаться с вечным.
Наступает срок. Разогнав сомненья,
ты заходишь в дом — серебришься речью.

* * *

Авиньон. Театралов своры.
Вдохновенно жую спектакль.
Мой ребенок уйдет в актеры.
Вот досада! Какой дурак!
Если путь — то из греков в варяги,
возвращение к корню... а вдруг
он уйдет в пофигисты-бродяги —
мой единственный маленький друг?

99

На горе Сант-Мишеля — ахи:
все аббатство ныряет в закат.
Мой ребенок уйдет в монахи
и туристу прошепчет:
— Брат!

Как прилив — приближение песни:
сочиняю себя взхлеб.
Мой ребенок певцом воскреснет.
А Орфей был растерзан... Стоп.
Спят легенды в изгибах развалин.
Этот замок живет высотой.
Мой ребенок героем станет
и спасет чью-то жизнь ценой...
Под рукой — словарей стаи.
Мир страницами шелестит.
Мой ребенок ученым станет —
посвятит интеллекту жизнь.
Дефиле самолетов статных.
И в салоне Бурже — суетня.
Мой ребенок пилотом станет.
Улетит, улетит от меня!
Сколько страхов скопилось на ужин.
Муж тревожен. Трепещет дом.
Пусть уходит — когда-нибудь нужно...
Мне бы только дать жизнь,
а потом...

* * *

Воображение —
враг мой —
на цветущие поля тела

опускаешь ты
 смог своих смыслов —
 каждый удушливей прежнего,
 внушаешь легковерным потомкам
 свою уникальность,
 бездарное творение тварей —
 ты царствуешь там,
 где подчиняется материя
 и можно клонировать
 100

галатей покорных,
 авантюристка пустот, покрытых
 сочными одеждами образов,
 я ступаю по твоим
 бескрайним цветущим пробелам,
 оставляя лишь чучела слов,
 чтобы отпугивать грамотеев
 с заученной азбукой истин.
 Я знаю: мой ребенок
 будет сильнее и отважнее меня,
 он растопчет ночные кошмары,
 не дающие наслаждаться
 светом реальности,
 как ядовитые цветы, из которых
 род наш из столетья в столетье
 готовил отраву
 наивным наследникам мифов.

* * *

Я выжила.
 Меня осталось двое.
 Жизнь в животе ворочается сонно.
 Подчинены невидимым законам,
 освоены больничные устои.
 Боль отступила. Дышится спасеньем.
 По капле жизнь сочится сквозь иголку.
 Бутонам вен осталось зреть недолго,
 но терпеливо капельниц терпенье.
 Авось позволит выносить поэму —
 я назову ее Анастасией,
 И потечет *воскресная стихия*¹,
 в март погружая каждую фонему.
 И отзовется всплеском свежих красок
 палитра дня, где по привычке пресной
 недуги будней я врачую в песнях...
 Хотя давно пришла пора для сказок.

Январь — февраль 2010 г.

¹ Анастасия (греч.) — воскресение.

Водная стихия — мартовский знак Рыб.

101

ИРИНА ВОЛОДИНА,

Париж

ЗАПИСКИ ДИЛЕТАНТА

Есть только два способа прожить жизнь.

Первый — будто чудес не существует.

Второй — будто кругом одни чудеса.

Альберт Эйнштейн

Французский эксклюзив

Франция, без сомнения, удивительная страна. Феномен ее привлекательности можно искать в исторических и культурных пластах, национальных особенностях, внешней и внутренней политике, наконец, в географическом положении. Мне сдается, что все дело в удивительной гармонии, которая присутствует буквально во всем. И гармония эта, наверное, имеет истоки мистического характера. Иначе как объяснить небывалую жестокость, грязь и разврат средневековой Франции, и современный ее облик? Такой благородный, утонченный, изысканный, манящий. Словно воздушный крем на пирожном в кружевной бумажной оборочке. Словно капля вина, стекающая по прозрачной грани бокала, которая дразнит ароматом, играет отраженным светом, завораживает глубиной цвета. Стоит хоть немного пожить на французской земле, и ты начинаешь любить хруст обдирающей десны корки багетов — самого национального французского хлеба. Мулии, эскарго, сан-жаки — все разновидности моллюсковых становятся прямо-таки родными. Особенно вываренные или тушеные в белом вине, да с чесночком... Лягушачьи лапки воспринимаются уже без отвращения, а вроде как семечки в кляре, которыми так приятно похрустеть в каком-нибудь ресторанчике, сидя за столиком с милым собеседником. Да еще под винцо какого-то особенного года, когда виноград был слаще или, наоборот, терпче, аромат насыщенным или еле уловимым... Когда благородный напиток отдает то персиком, то вишней, то еще чем-то, от чего сомелье в экстазе закатывает глаза.

102

Французская мода, в первый момент вызывающая оторопь, со временем становится даже симпатичной. А еще через некоторое время начинаешь ловить себя на желании проковырять в новой кофточке дырочки, насечь побольше разрезов, помять, посадить несколько пятен, порвать подол юбки на ленточки, нацепить что-нибудь несуразное и обязательно маломерное. Чтобы и пупочек торчал, и крутые бедрашки, не вписавшиеся в габариты парижских одежд, просматривались такими симпатичными детскими жировыми складочками. А прическа? Предстоит немало потрудиться, чтобы изобразить на голове нечто, напоминающее последствия урагана или расческу с обгрызанными зубьями. Но еще больше времени занимает попытка убедить себя не мыть голову чаще одного раза в месяц. Если в данном вопросе ваши привычки становятся в непреодолимую оппозицию, можно скрутить волосы в страшненькие прядки, называемые в молодежной среде дредами, и процесс пройдет почти безболезненно.

Продвинутые любители новомодных течений могут пожурить меня за косность и малограмотность, прочесть лекцию об изменчивости современных тенденций, о том, что изобилие на рынке готовой одежды приводит к демократизации моды — не возражаю. В конце концов, почему бы не носить все, что хочется и с чем хочется? Главное, чтобы человек был хороший.

И все-таки, кто объяснит, почему дырочки и лоскутки на парижанках смотрятся очаровательно, а на мне — по «секонд-хэндовски»? Их ураган причесок выглядит новыми и остросовременными тенденциями моды, а у меня — последствиями пребывания в аэродинамической трубе? Просто надо уметь все это носить, скажет искушенный специалист «от кутюр». А простота эта, добавит тот же специалист, французская — вот в чем весь фокус!

О музейных призраках

Однажды меня попросили составить культурную программу

пребывания во Франции заезжих гостей. В маршрут посещений в первую очередь были включены места французской гордости и туристического паломничества — Шампань, Шабли, Дижон. К великому огорчению участников тура провинция Коньяк оказалась на большом расстоянии, и доехать до нее не представлялось возможным. Кто-то вспомнил, что слышал о парижском музее Коньяк-Жэй (Cognacq-Jay), где можно вдоволь побродить по коньячным погребам

103

и скоротать время за обильной дегустацией. Поскольку обсуждаемое заведение до сих пор не было лично мною исследовано, я решила воздержаться от его посещения, с трудом успокоив рвущихся на дегустацию гостей. И правильно сделала.

Спустя некоторое время наконец удалось побывать в неведомом доселе заведении. Уже на пороге я готова была рассмеяться. И было от чего: Коньяк и Жэй — фамилии супругов, основателей магазина Samaritaine — роскошного дома дорогих вещей. Будучи страстными коллекционерами художественных произведений XVIII века, супруги в 1928 году все собранное завещали городу. Их имена и легли в основу названия нового музея, размещенного в старинном особняке квартала Марэ.

Я веселилась, представляя, как хожу — этаким сомелье! — по выставочным залам, то и дело подливая коньячок в рюмашки экскурсантов. «Посмотрите направо...» Бульк... «Посмотрите налево...» Бульк. Музей, между тем, оказался действительно интересным. Блуждая по коридорам и этажам, попала в гостиную. Стены, покрытые дубовыми панелями с резьбой, выгодно оттенены инкрустированной старинной мебелью с гобеленовой обивкой. На полочках — фарфоровые статуэтки, на стенах — портреты элегантных дам, кавалеров, милые детские головки. Подсвечники с матовыми лампочками погружают убранство гостиной в полумрак, играют тусклыми отблесками на позолоте портретных рам и лакированных столиках.

Приглушенно звучит салонная музыка. Вкусно пахнет старым деревом и каминным дымком. Половицы поскрипывают, жалуясь на возраст и полотера... Но не хватало какой-то малости, чтобы вдохнуть жизнь в старинные предметы. На каминной полке легким позвякиванием начали отсчитывать время старинные часы. И с каждым боем пространство комнаты все больше наполнялось значительностью, неуловимым движением.

Маленький молоточек звякнул по колокольчику. Дзинь, дзинь...

Лампочки в подсвечниках, словно забыв, что они из стекла, качнулись в такт чуть уловимого волнения воздуха. Где-то в глубине полутемного коридора послышался девичий смех, и в комнату, легко, как бабочка, впорхнуло юное создание в длинном светлом платье с высоким корсажем и узкой талией. В каштановых волосах, уложенных в замысловатую прическу, мелькнула ленточка в тон платью. Барышня легким ветерком пролетела сквозь гостиную, ловко огибая предметы, и слилась с полумраком узкого прохода в соседнее помещение.

В глубине комнаты заскрипели половицы, прогибаясь под тяжелыми шагами солидного господина в темно-бордовом длинном халате.

104

Пенсне в одной руке, газета в другой, аккуратно подстриженные усы, ухоженная борода — все говорило о принадлежности хозяина к чиновничьему рангу. Он подошел к камину, на минуту засмотрелся на огонь, затем прислушался к бою часов, чуть шевеля губами отсчитал звоночки, и неторопливо направился в домашнюю библиотеку. Половицы заскрипели в такт удаляющимся шагам, все тише и тише,

пока совсем не успокоились. Каминные часы прозвонили в последний раз и стихли. Гостиная вновь погрузилась в вековую дремоту. Что это было? Фантазия или реальность? Спросить не у кого — я единственный посетитель. Как жаль...

В задумчивости я вышла на улицу и отправилась на шум большого города, вдыхая прощальный воздух старого квартала. Пахло дымом каминов, пылью веков и еще чем-то давно забытым... Старинный уличный фонарь моргнул лампочкой, игриво намекая, что я теперь своя — посвященная.

О дожде и грезах

Зимние будни однообразны и неторопливы, как дождь в Париже. Сильные эмоции здесь чужды не только городским жителям, но и природе. Сверху льется влага — хоть и непрерывная, но какая-то застенчивая. Чуть ли не в смущении от неудобств, вызванных своим присутствием. На небе, безмерно затянутом серой пеленой, время от времени проступают голубые клочки чистого неба, больше похожие на извиняющуюся улыбку погоды. Если прислушаться, в мерном шелестении нудной мороси можно уловить бесконечные «экс-с-скьюз-з-зэ-э муа», и успокаивающие «ш-ш-ш». Париж промок, как... Париж гравюр и акварелей, которые продаются на всех углах. Город опрыскивает добросовестно и настойчиво, словно перед хорошей гладкой. Кстати, прогноз погоды предсказывает безумство жарких деньков.

Удивляют горожане. Такое ощущение, что они не замечают уныния природы, не чувствуют ее слезливости. Количество любителей оздоровительного бега в Булонском лесу ничуть не уменьшилось, как, впрочем, и число собачников. Праздно гуляющие горожане все так же задумчивы, расслаблены, до краев заполнены самосозерцанием. И ни одного зонтика! Ан нет, вон один появился. Он укрывает спешащего мужчину. Стремительность пешехода вносит явный диссонанс в окружающий мир, заставляя неспешных бегунов шархаться в стороны, вальяжных собак замирать на месте в позах, выражающих

крайнюю степень удивления. Один ожиревший коротколапый индивид сделал было энергичный прыжок вслед спешащему, но буквально в полете задумался о смысле жизни, о том, что он уже не щенок, чтобы совершать необдуманные поступки, вздохнул и грузно плюхнулся на асфальт. Воркующий зов хозяйки и шелест пакетика с хрустяшками вернули пса к действительности, на морде появилась блаженная улыбка: не все в жизни потеряно, есть еще близкие люди. И он, не спеша, с достоинством метиса, в чьих жилах, несомненно, течет кровь истинно французского бульдога, причем самого что ни на есть породистого, посеменил на сладостный зов.

На городских улицах также есть чему подивиться. К услугам зонтиков прибегают в основном нервные туристы. Коренное население, презрев неудобства, скорее даже не замечая их, гуляет «нараспашку». Резкие порывы ветра и влага, сочащаяся с небес, влияют разве что на волосы, вовлекая их в новомодную укладку. От глобального намочения спасают уютные кафе и ресторанчики, поджидающие пешеходов на каждом шагу. Там вас встретит приветливый официант, проводит к свободному столику, услужливо подаст книжицу с бесконечным перечнем предлагаемых блюд, и нисколько не обидится даже на самый скромный заказ. Через пару минут вы уже наслаждаетесь ароматом свежесваренного кофе из крохотной чашечки, запивая водой из бокала. Бокал предусмотрительно подан все тем же услужливым официантом, подходящим уже скорее на лич-

ного ангела-хранителя. За окном дождик, а вам так уютно в неярком свете настольных ламп...

Ближе к вечеру столик украсят свечой, и душу окончательно заполнит блаженство. Картины импрессионистов, украшающие стены уважающего себя кафе, уведут вас в мир «прекрасной эпохи». И вот вы уже в компании Дега, Моне, Сезанна, Ван Гога, Тулуз-Лотрека... Дождь за окном чуть усиливается, пламя свечи колеблется... Друзья радостными возгласами встречают папашу Танги, хозяина кафе — друга художников и страстного поклонника их творчества. И не столь важно, что на полотнах зачастую отсутствует какая-то краска (художники так бедны), сюжеты обыденны (импрессионисты, что с них возьмешь), или произведения небрежно эскизны...

Конечно, это лишь игра воображения, реальность прозаичнее. Но шелест дождя за окном, порывы ветра, стучащие о стекло дощечкой с меню, настойчиво уносят в мир грез. До вас еще доносятся голоса других посетителей, заполнивших в вечерний час соседние столики заведения, но они звучат приглушеннее, чем призрачные голоса прошлой жизни Парижа.

106

...Папаша Танги угощает всех присутствующих за счет заведения и, смущаясь, рассказывает, как его жена продала на днях картину Сезанна. Ну, ту самую, что выставлялась в окне кабачка. Прохожий отказался платить объявленную женой сумму — дорого. Попросил отрезать от полотна одно из четырех изображенных на нем яблок и расплатился четвертью цены. Все остались довольны — и покупатель, и жена. Художники реагируют дружным гоготом. Поддавшись общему настроению, улыбаетесь и вы. Ирвин Стоун, описывая схожий сюжет в книге «Жажда жизни», не обманул. Теперь вы точно знаете: все было именно так...

Новый глоток кофе лишь на несколько мгновений возвращает вас в действительность, но воображение накрывает новой волной. Собеседники сменились. Мелькнул огонек, потянуло ароматным табаком раскуриваемой трубки. За клубами дыма прячет пронзительный взгляд комиссар Мегрэ. Рядом — писатель Жорж Сименон. Он заказал любимые лягушачьи лапки и внимательно наблюдает за героем своих детективных историй.

...За соседним столиком идет настоящее сражение за фигуру короля. Проиграв баталию, молодой офицер вскакивает, швыряет

107

на стол шляпу и стремительно направляется к выходу. «Ваш залог принят, месье Бонапарт. С нетерпением жду расплаты», — бросает вдогонку партнер по шахматной партии, поясняя любопытствующим: «Корсиканцы чертовски горячи!»

...А за окном моросящий дождь продолжает свои заунывные трели.

Булонские видения

Когда звучит словосочетание «Булонский лес», перед глазами невольно возникают тихие тенистые аллеи, кареты. Дамы в длинных пышных платьях с кружевными зонтиками неторопливо шествуют под руку с солидными мужами. Не знаю, откуда такое представление, источники его давно канули в Лету...

Однажды знакомый рассказал, что каждое утро для бодрости духа бегал в Буа де Булонь, а иногда даже собирал там грибы. У меня аж голова закружилась от возмущения! Ну как можно бегать в шортах, кедах и с плеером мимо великосветских дам! Это верх неприличия! А собирать грибы — в самом Булонском лесу! — просто кошунствен-

но. Здесь можно лишь, прохаживаясь по бельведеру, созерцать природу, вежливо раскланиваясь с прохожими, вдыхать аромат роз, наслаждаться видом озер с разнообразными водоплавающими, среди которых, несомненно, должны преобладать лебеди. Обязательно белые, и один — черный красавец. Можно присаживаться на ажурные скамеечки, расслабляться в тени вековых дубов или каких-нибудь затейливых кустарников, подстриженных исключительно пирамидами и шарами в стиле партерных садов. Само собой разумеется, здесь должно думать о чем-то возвышенном и прекрасном. Ах да! Можно еще рассматривать солидных матрон с пудельками на поводках.

Нельзя также забывать о голубях. Их всенепременно надо подкармливать, игриво бросая кусочки багета. Все действия следует сопровождать звонким, серебристым смехом, на который просто обязаны оборачиваться мужчины. Они должны глядеть на источник звука — на вас, на вас! — томным многообещающим взглядом, склоняться в приветственном поклоне, чуть приподнимая шляпу. Один из них подойдет чуть ближе, посмотрит чуть томнее, и вот уже слух о вашем романе легким ветерком проносится по всему лесу, заставляя краснеть девиц и делая безусых юнцов более решительными в любовных утехах...

108

И вот я ступаю на дорожку столь волнующего Булонского леса. Прохожу небольшие кустарники и натыкаюсь на шоссе. Перехожу его, углубляюсь еще в один пролесок — опять шоссе! И снова пролесок. А вот и дамы, все в кружевах... и лифчик, и чулочки на подвязках. То и дело к ним подъезжают машины. После коротких переговоров пассажиры удаляются с этими самыми дамами в лесок, на ходу теребя ширинку брюк...

Парижане, ау, вы где?

Вот прогуливается молодой человек, его взгляд скользит по проходящим мимо особям женского пола, но как-то подозрительно безразлично. Вдруг походка юноши становится более энергичной, в манерах появляется жеманность, напыщенные губки сливаются в капризном изгибе... И молодой человек, игриво подпрыгивая, устремляется в сторону мелькнувшего вдалеке мужчины...

«Долгое время здесь собирались разбойники всех мастей», — выплывает из глубин памяти страшилка из путеводителя о молодости сего дивного лесного массива. Однако хорошо сохранился, шалуниска.

С божьей помощью выбираюсь на поляну, перехожу еще два перекрестка проезжих дорог, перенасыщенных светофорами, и оказываюсь на берегу довольно большого озера с островком в центре.

Вокруг озера гуляют горожане, играют детишки, пожилые люди оккупировали все скамеечки. Те, кому места не хватило, восседают на предусмотрительно прихваченных из дома складных стульчиках. По извилистым дорожкам, не торопясь, пробегают спортсмены-любители. Некоторые из них веселы и бодры, другие — с нечеловеческим усилием отрывают ноги от земли и готовы упасть без сил на руки первому встречному.

Новая мода на здоровый образ жизни требует жертв. Как и любая мода.

На изумрудной травке газонов возлежат парижане, иной раз целыми семьями. Они беседуют, потягивают из термосов кофе, слушают тихую музыку, самозабвенно целуются. Среди празднично

гуляющих довольно много собачников. Их питомцы поражают разнообразием пород, размеров и полным безразличием ко всему, что движется. По спокойной глади озера проплывают лодочки любителей активного отдыха, которые то и дело склоняются к воде, подкармливая уток, карпов и водяных черепах, обитающих здесь в невероятном количестве.

109

И странной близостью
закованный

Смотрю за темную вуаль,
И вижу берег очарованный,
И очарованную даль...

Булонский лес... Здравствуй, дорогой. А я уж забеспокоилась, что наша встреча так и не состоится.

110

ЛЮДМИЛА ЛЕКАРПЕНТЬЕ,

Анси

ШЕДЕВР КЛАДБИЩА ЛАВЕРШИ

По следам удивительной судьбы Эжена Сю

Старое городское кладбище «Лаверши»... На одной из центральных аллей, в глубине каменного прямоугольника с аккуратными рядами старинных и современных монументов неожиданно натыкаешься взглядом на скромное гранитное надгробие, изъеденное временем, серое и шероховатое.

Даже камень подвержен ветрам столетий. Могила странная, она напоминает формой огромную гранитную книгу и совсем не похожа на остальные усыпальницы состоятельной буржуазии и местной аристократии того времени. Только приглядевшись, можно разобрать едва приметную надпись: «Эжен Сю. 1804–1857».

Вот здесь, в Анси, на местном погосте и зарыт главный шедевр неподражаемого Эжена Сю — он сам. Вернее, его прах. Если только в наследство нам опять не досталась очередная мистерия, «написанная» уже не самым великим фантазером, так и оставшимся взрослым ребенком, а совсем другими людьми...

Я помню, как во времена читательского бума, еще в советскую эпоху, по подписке в серии «Иностранная литература» мне пришли по почте два небольших томика в тонком бумажном переплете. Это были романы французского писателя Эжена Сю «Агасфер» и «Парижские тайны». Сначала я буквально «проглотила» «Вечного жид». Обалдевшая от новизны и закрученности сюжета, почти ничего не поняв, взялась читать заново. А когда добралась до конца, то уже не могла и не хотела расставаться с книгой. История старого еврея, обреченного на бессмертие и вечное скитание за отказ в помощи Иисусу, несшему на Голгофу крест, на котором его должны были распять, остается по сей день одним из самых сильных впечатлений моей жизни. Почему? Не надейтесь на ответ — я не знаю.

Потом были «Парижские тайны», прочитанные тоже в один заход и с детским восторгом. Только на этот раз образ главного героя, аристократа и друга бедняков Рудольфа в памяти все время заслонял

111

несравненный Жан Марэ, с участием которого я еще в детстве смотрела одноименный черно-белый фильм.

Таверны и кабаки, где собираются убийцы, воры, мошенники,

распутные женщины... Тюрьмы, где только еще подозреваемые в преступлении посажены в одну камеру с закоренелыми преступниками, сбежавшими с галер... Больницы, где для пользы науки бедная женщина, мучаясь и преодолевая стыд, должна рассказывать доктору в присутствии его учеников симптомы своей болезни... Дома умалишенных, которые представляли собой более утешительное зрелище, чем все другие общественные заведения... Чердаки и подвалы, где скрываются бедные семейства, круглый год бледные от голода, страдающие от изнуряющей жары летом, а зимой дрожащие от пронизывающей до костей стужи...

В этих чердаках и подвалах, жилищах нищеты и отчаяния, часто проявляются подлинно высокие добродетели, но еще чаще гнездятся все пороки, присущие человечеству. Что говорить о тех несчастных, которые сами себя называют детьми мостовой и с малолетства служат предметом спекуляции для подобных им нищих? Разврат и преступления ждут их на пороге жизни, чтоб схватить в свои когти и повлечь по всем мытарствам, побоям, голоду, обидам, презрению, угнетению, наказанию тюрьмами, галерами, воспитывая в них закоренелых злодеев. Об этом страшном мире парижских трущоб мне впервые поведал Эжен Сю.

Сколько противоречивых мнений живет в народе об этом авторе и его творениях! Одни величают Сю гением. Вторые — бездарностью, третьи зовут повесой и обвиняют во всех смертных пороках и грехах, четвертые склонны считать романиста так и не повзрослевшим ребенком, с детства противившимся строгой воле отца, а в зрелом возрасте — любой власти вообще.

Так кем же на самом деле Сю был в жизни? На этот вопрос уже много лет пытается ответить местный исследователь жизни и творчества Эжена Сю, Жан Перду. Во времена Империи Наполеона III автор нашумевших романов «Парижские тайны», «Агасфер» и многих других, имел огромный литературный успех. Он прибыл в Савойю в добровольную ссылку и поселился в Анси.

Похождения и смерть Эжена Сю в Анси

— Моя дорогая...

— Как?

— Моя дорогая...

112

— «Моя дорогая» или «дорогой»?

— Нет! «Моя дорогая», мадемуазель...

— Хорошо! Моя дорогая... А как? В начале письма?

— Да, если вы хотите, мадемуазель. Моя дорогая...

— «Моя дорогая» — два раза?

— Нет, один раз, мадемуазель...

— Дальше...

— Я слышу ветер... Я тебя люблю...

— Я слышу ветер. Я тебя люблю. Дальше?

— Город умер с тех пор, как ты ушла, но статуя всегда на том же месте...

— О, ля-ля! Подождите, подождите... «С тех пор, как ты ушла...», кхе... и что?

— Статуя...

— Что статуя?

— Да, статуя, мадемуазель...

— «Статуя всегда на своем месте», — это?

— Да, это, мадемуазель.

— Эжен Сю на меня посмотрел... Я тебя люблю....

— «Эжен»... так имя?
 — Да...
 — Потом?
 — Сю, Эжен Сю...
 — Назовите по буквам...
 — «С» — как «Сюзанн», «У» — как «Урсулла» и «Е» — как Ежен...
 — Да.
 — Сю?
 — Да, мадемуазель...
 — Дальше?
 — На меня посмотрел... Я тебя люблю... Я тебя люблю, я думаю о тебе, я люблю, я люблю, я люблю...
 — Я люблю, я люблю. Ну? Три раза «Я тебя люблю»?
 — Да, мадемуазель...
 — Поль! Это его подпись?
 — Да.
 — Я вам перечитаю:
 (Монотонным голосом)
 «Моя дорогая, я тебя люблю. Город мертвый с тех пор, как ты ушла, но статуя все время на том же месте. Ежен Сю на меня смотрит. Я слышу ветер... Я тебя люблю, я думаю о тебе, я тебя люблю, я тебя люблю...»

113

Подпись — «Поль».

Мы в 1950 году. Ив Монтан и Симон Синоре играют известный скеч из жизни Эжена Сю. Статуя из письма Эжена Сю, о которой идет речь в скече, это та самая, что и сегодня украшает фасад Парижской мэрии на длинной улице Риволи и площади мэрии. Она здесь уже 130 лет.

Александр Дюма обиделся

Так кто же такой Эжен Сю? Популярный романист девятнадцатого века, наиболее блестящего и богатого писателями? Или Эжен Сю — забытый писатель? Завсегдатай парижских светских салонов минувшей эпохи? Денди-выскочка или денди-депутат и социалист? Аристократ или демократ? Человек прагматичный или транжира? В нем есть понемногу от того и другого.

Но что неоспоримо, так это то, что в середине девятнадцатого века, столь богатого событиями, Эжен Сю являлся персонажем, который поражал и своими сочинениями, и манерами. Это был король письма, почитаемый и любимый своими читателями, особенно — читательницами.

Попробую вам рассказать о жизни этого не вписывающегося ни в какие рамки человека с особенным шармом. В течение всей своей жизни он был либо обожаем дамами, либо ненавидим мужчинами. Чаще всего — крупными писателями эпохи или людьми политики, которые плохо понимали поведение этого социалиста-аристократа. Я расскажу вам в основном о жизни Эжена Сю в Анси-ле-Вье, благодаря сохранившейся переписке, которую он вел в течение последних четырех лет жизни, до самой смерти, со своим последним большим-большим другом — мадемуазель Мари де Сольмс. Но когда все-таки родился великий Эжен Сю? Это — вопрос вопросов.

Романист Лошатр сообщает, что Сю родился 17 февраля 1804 года. По мнению модного писателя эпохи Эжена де Мерекурту, Эжен Сю родился 1 января 1801 года. По великому Александру Дюма, дата рождения Сю — 1 января 1803 года (автор «Трех мушкетеров»

Александр Дюма в своих мемуарах посвятил целую страницу памяти Эжена Сю). Они были хорошими друзьями, но Александр Дюма считал, что Сю оставил его в тени своей популярности, и мужчины рассорились. Такое же предположение высказывает и его последняя *égérie* Мари де Сольмс.

114

Много фантазии и домыслов. В действительности Эжен Сю родился в Париже 26 января 1804 года. Сын хирурга наполеоновской армии, Эжен Сю ни мало, ни много имел крестной матерью императрицу Жозефину, а крестным отцом — принца Эжена Бонапарта, вице-короля Италии. «Красавчик Сю», как звали его приятели по колледжу, имел очень привилегированную юность, что не мешало мальчику быть ребенком особенно подвижным и недисциплинированным.

Вы знаете известного композитора многих опер и знаменитой «Христианской ночи»? Эжен Адан был большим другом Сю. Вместе они совершали наиболее озорные шалости. Красавчик Сю не имел другого пристрастия, как выращивать индийских свиней. Он их кормил в отцовской лаборатории, а содержал в зимнем саду своего колледжа. Правдой было, что среди его соучеников ходил каламбур: «Красавчик Сю был хорош. Глаза обожаемые, лес из черных волос, брови, говорящие о характере, прелестные зубы среди очень тонких губ...»

Эжен Сю знал про это. «Жаль, что только у меня нос канальи, — добавлял он, — только нос...» Он был скромником. По распоряжению отца, Сю должен был учиться на помощника хирурга в госпитале королевского дома. Пока он учился, империя пала. Впрочем, «учеба» — это слишком сильно сказано. Его настоящей натурой было «просыпаться очень быстро». В течение короткого времени Сю пустился в пьянство и наделал долгов. Отец обязал его идти в армию. Эжен уехал в Испанию вместе с французским экспедиционным корпусом помогать Фердинанду II. Однако в конце этого же года он вернулся, не предупредив отца, и занялся коммерцией — торговлей вином. Ему было 20 лет. Удача была против него.

Однажды днем, когда он прогуливался по Парижу в блестящем конном экипаже, его карета сбила старика. Тот поднялся, приблизился к дверце, замахнулся тростью и... узнал своего родного сына. Объяснение было жестким. На этот раз господин Сю-отец отправил сына в воинский хоспис в Тулон, опять в качестве помощника хирурга. На следующий год Эжен подал в отставку, сославшись на личные обстоятельства, и покинул службу в Тулонском хосписе. «Отставка принята без возражений, — сообщал тогдашний министр (в ведении которого находился хоспис), — в силу легкой заменяемости».

Вернувшись в Париж, Эжен активно занялся своими важными «особенными делами»: флиртовал с графинями и парижскими

115

дамами. Он был принят мадам де Рекамье. Писал театральные и светские статьи. Его жизнь становилась все более и более беспокойной. В один прекрасный день отец силой прекратил его беспутную жизнь, определив на корабль «Бреслау» в качестве, конечно же, помощника хирурга.

Азия, Америка, Антильские острова. Открытие непознанного ранее мира... Эжен был очарован морем. С присущим ему вкусом, тягой к беспредельности и экзотике, проводил он дни своего пу-

тешества. Но у приятного морского путешествия, как оказалось, была и вторая, неприятная сторона. Только корабль вернулся в Брест, как разразилась война против Турции из-за греческого конфликта. Греко-английский флот проводил операции в Средиземном море.

Настоящий шок он испытал 20 октября 1827 года при «Наварине», недалеко от греческого побережья. Бой был длинным и кровопролитным. В течение этого боя военные хирурги и моряк Эжен Сю, умиравший от страха, прятались в корабельном трюме. Пришло время проявить таланты и им... Раненых было множество, так что пришлось засучить рукава и ему, и офицерам.

«Нужно было срочно оперировать, — рассказывал впоследствии один из офицеров, — и тут проявилось все неумение молодого человека, сопровождаемое апломбом «старого» хирурга. Говорят, что в этот день жертв было столько же, сколько от турок.

Уволившись с корабля, Сю вернулся в Париж. Он не переставал всем рассказывать о жестоком сражении при «Наварине» и показывал неприятельские трофеи, которыми до отказа набил ящики. Его бурная жизнь возобновилась. Он хотел только одного — жить, утопая в роскоши, как индийский принц, с которым однажды встречался, спать на вышитых подушках в окружении женщин и слуг, есть из золотой посуды, вызывая у всех восхищение и зависть. При этом у него был один каприз: литература.

Умершие дед и отец оставили Сю колоссальное состояние, но при таком образе жизни, как он вел, ему потребовалось всего восемь лет, чтобы его уничтожить. Зато какие это были годы! Он построил в центре Парижа восточный дворец, о котором мечтал, купался в роскоши, празднествах, вращался в самых состоятельных кругах и величал себя «Барон Сю». Стоило ему только свистнуть, как жены министров и генералов сами являлись к нему...

А для расслабления он писал. Так появились «Парижские тайны» и «Вечный жид». Вся Европа видела в нем гения, равного великому Александру Дюма и Бальзаку.

116

Узник «Башни»

Прибыв в нашу коммуны 23 января 1852 года, Эжен Сю был хорошо принят своим другом, известным музыкальным издателем Виктором Массе. Тот происходил из Тона и владел красивой виллой «Маригита» в деревне Баррат. Потом Сю недолго пожил в Винере, в доме Крозет Муше, ныне исчезнувшем строении. И, наконец, в июне 1853 года решил окончательно перебраться в поместье «Башня». Как он здесь жил? Эжен Сю просыпался в своем убежище около пяти утра. Будили его теперь не обаятельные горничные с греческими прическами и одетые в газ, как в Париже, а красивая гувернантка, молодая девушка из Анниси-Ле-Вье, и слуга из савойардов, Франсуа Лакомб.

Вместе со слугой Равио или один, погожим утром, взяв свою бамбуковую трость, он отправлялся на прогулку под елями леса Верье или вдоль берега озера Анси. Чистый воздух нашей местности стимулировал здоровый аппетит. В это время милая гувернантка готовила ему обильный завтрак. После него Сю отправлялся в свой кабинет работать. Здесь его ожидало большое количество заказов от парижских книжных магазинов.

На золотом подносе слуга Равио подносил своему мэтру пару перчаток соломенного цвета, без которых Эжен Сю не хотел работать. После каждой написанной страницы Равио привычным жестом

менял перчатки на новые, более свежие и более надушенные. Остро заточенным золотым пером Эжен Сю писал по пять-шесть часов. Без исправлений и перечитывания текстов манускрипты отправлялись столичным издателям. Он хорошо зарабатывал, но гораздо меньше, чем в эпоху, когда писал фельетоны, которые издавались сразу во многих парижских журналах.

После ежедневной работы, туалета, достойного принца и обильного ужина, Сю с Равио отправлял на длительную прогулку в лес Верье или скакал на своей лошади по аллеям парка владения «Башня». Вернувшись домой, бодрый и счастливый, Эжен Сю заставлял свою гувернантку за приготовлением турецкой трубки с опиумом. Он опускался на шелковые подушки, курил и засыпал. Однажды во время длинной одинокой прогулки в массиве Верье Сю был озадачен, услышав игру на флейте, звук которой ему был хорошо знаком. Он долго и безуспешно искал музыканта, несколько раз поднимаясь высоко в горы, и только как-то вечером, когда уже почти совсем опустилась ночь, наконец, обнаружил, что это контрабандист музыкой подавал сигнал с границы на перевале своим друзьям.

117

Сю пользовался большой популярностью не только у своих соседей, но и у пастухов, пасших скот в горах Верье, которых он часто сопровождал в своих долгих прогулках. Как-то в ненастный зимний день писатель заблудился в снегу и не мог найти обратную дорогу. Его всегда преследовал страх поломать ногу и попасть под снежный обвал, поэтому он всегда брал с собой нечто наподобие тонкой дудки. С ней был уверен, что в случае беды друзья-пастухи его услышат и придут к нему на помощь.

Еще Сю любил сидеть на большом камне напротив поместья «Башня». Этот камень существует и поныне. В течение долгого времени его отстраненный от всего взгляд был устремлен в туманную дымку горизонта, блуждая в событиях прежней бурной жизни и унося его в мечтах к берегам родной Франции.

Завзятый денди и завсегдатай роскошных парижских салонов удивлял крестьян Анси-ле-Вье своими познаниями в технике и ведении сельского хозяйства. Некоторые новшества тревожили крестьян. Например, он предлагал использовать коров в качестве тягловой силы, но владельцы боялись, что у них могут случаться выкидыши. Простые люди были удивлены, открыв для себя с помощью Сю, что можно использовать прошлогодний тростник вместо сухого навоза для окуливания земли и подстилок для скота. Один сосед-фермер извинялся, что приходится возить неприятно пахнущий навоз мимо виллы, где жил писатель. Сю ему на это неизменно отвечал, что навоз — это «...всегда хорошо, очень хорошо».

Вот так, вдали от родины, от бурной столичной жизни, размеренно, в трудах и мечтах, проводил Эжен Сю свои дни. Здесь он написал произведение «Маркиза Корнелия Далфи», большой успех имела пьеса, поставленная по этой книге. В том числе и в театре Анси.

Вот отрывок из этой книги:

«Озеро Анси совершенно очаровательно. Вокруг него, то группируясь, то разбегаясь, сбегая склонами к воде горы. Природная красота здесь превосходит лучшие шедевры искусства. Это не огромность Женевского «Средиземного моря», где иногда с одного берега не увидишь другой. Это и не мрачное и дикое озеро Берге, заключенное в суровых отрогах гор среди отвесных скал, что не оставляют взгляду почти никакого простора. Нет. Здесь

глаз счастливо останавливается поворот за поворотом на улыбающихся берегах озера и уплывает за далекий горизонт, покрытый опускающимися склонами и откосами гор, обрамляющих его, как драгоценная рама».

118

Ищите женщину

В сентябре 1852 года в Экслебан приехала молодая аристократка, принцесса Мария де Сольмс. Ей было двадцать лет. Она блистала красотой, одухотворенностью и одержимостью ко всем, кто сочинял музыку. Сольмс также находилась в оппозиции к императору Наполеону III, своему кузену. Это он собственноручно выдворил ее из Парижа. Принцесса Мария Сольмс поселилась в Сардинии. Эжен Сю, знавший молодую женщину еще по парижской жизни, пригласил ее провести месяц у него в поместье «Башня». В поэтической форме он описал ей свое убежище. А для поездки за своей подругой Эжен Сю выбрал маленькую рессорную карету, где путешественники должны сидеть в непосредственной близости друг от друга. В ссылке Эжен Сю и молодая красавица-принцесса стали большими друзьями и общались постоянно.

3 августа 1857 года Эжен Сю скоропостижно скончался при загадочных обстоятельствах. Смерть его пришлась на момент кратковременной отлучки местного врача, друга и преданного поклонника писателя. Похороны Сю прошли в спешке, вскрытие не производилось. В качестве причины смерти фигурировали три взаимоисключающих диагноза. Знаменитый химик и медик, социалист, герой революций 1830 и 1848 годов Франсуа Венсан Распайль прямо заявил вскоре после смерти Эжена Сю, что тот был отравлен. Вопрос только в том, чем его отравили — мышьяком или сулемой. Покрывало тайны над смертью Эжена Сю приоткрылось только в 1863 г., когда в Лондоне вышла анонимная брошюра, автором которой был близкий друг писателя и его секретарь в последние годы жизни, эмигрант Пьер Везинье, впоследствии — член Парижской Коммуны.

В брошюре рассказывалось, что убийство Эжена Сю по специальному указанию Наполеона III осуществила двоюродная сестра императора, принцесса парижского двора, известная авантюристка Мари де Сольмс. Она создала себе репутацию изгнанницы и пыталась (в основном — безуспешно) втереться в доверие революционной эмиграции. Ей удалось влюбить в себя Эжена Сю, стать его любовницей и, найдя удобный момент, отравить. Сразу после смерти Сю принцесса Мари де Сольмс возвратилась в Париж, где царственный родственник осыпал «изгнанницу» милостями.

Император запретил публиковать какие-либо сообщения о смерти Эжена Сю — даже и ругательные. Более того, он использовал все свое влияние на правительство Бельгии (а Брюссель был тогда

119

основным центром эмиграции), чтобы не допустить и там появления некрологов на смерть писателя. Даже после смерти Эжен Сю вызывал ненависть у своих врагов.

Беспокойный ссыльный

Присутствие Эжена Сю в Савойе, как и в Анси, вызывало обостренную тревогу и приносило много хлопот местным властям и католической церкви. Священники читали пастве наставления и жаловались епископам на писателя, обвиняя его романы в неверном освещении их роли и деятельности. Они требовали от пастухов и держателей харчевен тоже читать своим клиентам эти обвинения.

Между тем, кюре Аннси-ле-Вье, аббат Пактад, несмотря на несколько напоминаний ерарха, поддерживал добрые отношения с Сю. Он принимал приглашения и приходил к нему обедать в имение «Башня». Писатель ему вручал каждый месяц пятьдесят франков «для бедных». Закончилось это тем, что впавшего в немилость кюре перевели в другое место службы, в Магланд.

В течение ссылки в Анси-ле-Вье Эжен Сю продолжал принимать бывших политических друзей — ему давалось все же немного свободы. Агаро, Барб, Салино, Паттази приезжали с ним повидаться и проконсультироваться по тому или иному вопросу. Савур, шеф правительства Сардинии, несуществующей ныне итальянской территории, куда относился и Анси, также оказывал известному романисту честь своими визитами.

31 июля 1857 года Эжен Сю написал свое последнее письмо.

О чем оно? Нам известно гораздо меньше о его кончине, чем хотелось бы. Общая могила — вот на что претендовал наш солдат идеи, судя по его посмертной записке. «Я не помышлял никогда ни о чем другом, кроме как уснуть вечным сном среди бедных, — писал он. — Невыносимы страдания, причиняемые невралгией, даже при той безопасной и умеренной жизни, которую я вел. Бедные, дорогие дети, я должен вас покинуть. Я вам говорил тысячу раз, но снова повторяю: чтобы ни случилось, знайте, что вы были теми, кого я любил, кого люблю и буду любить больше всего в мире. Вы — моя семья, мои дети, мои друзья. Я не произносил слова дружбы никогда человеку, не вызывающему доверия и любви абсолютной и великой. Прощай, моя дорогая Мари! У меня еще так много есть что вам сказать, но я уже ясно не вижу, мое зрение угасает, пелена застилает взор. Агония начинается».

120

Несмотря на прибывшего вскоре личного врача, бывшего почему-то в отсутствии, свободолобивый мыслитель умер. Церковь отказала почившему в панихиде. Власти намеревались похоронить его в строгой секретности, опасаясь нежелательных общественных волнений и манифестаций. Но скрыть от народа похороны не удалось. Они происходили в присутствии большого стечения горожан. Люди вышли на улицу на рассвете, чтобы проводить известного человека и защитника бедных в последний путь. Его гроб сопровождали тысячи горожан. Они пришли в «Маленький порт», где находилась вила «Башня», к последнему приюту писателя, и ждали начала траурной процессии. Толпа была настолько многочисленной, что когда тело Сю уже внесли на кладбище Лаверши в центре города, то конец траурного кортежа не приблизился еще к мосту Пакье в пяти километрах от места захоронения.

Местными властями была разрешена только одна траурная речь. Ее произнес адвокат из столицы тогдашней Сардинии, Шамбери, адвокат Рекс. Ссылным товарищам Сю не полагалось произносить речи.

Я приведу здесь выдержку из этой речи: «Жизнь есть борьба.

Эжен Сю — один их ярких людей Франции, был никем иным, как великим поэтом, которого мы знаем, и солдатом мира, который не переставал сражаться за свои идеи до последнего вздоха». Могила Эжена Сю по сей день находится на кладбище «Лаверши» в Анси. Это обычный каменный прямоугольник, с одного угла забранный в неширокую кайму из живых цветов, а с другого ограниченный невысоким кудрявым деревом, раскинувшим над ним зеленый шатер. Старая плакучая ива, посаженная по завещанию самого Эжена Сю,

состарилась и погибла. Ее заменили. Когда хранители кладбища выкапывали прежнюю «плакальщицу», то по какой-то необходимости или из простого любопытства вскрыли гроб. Кости скелета находились на месте, только почему-то были свалены в беспорядке. Это скоро стало достоянием общественности. По округе поползли слухи, что семья Эжена Сю симулировала его похороны и тайно вывезла тело во Францию. В то время Сардиния не принадлежала Франции. К империи Наполеона III она была присоединена только несколько лет спустя.

121

СНЫ НОЧЛЕЖКИ «САН-КРИСТОФ»

Рассказы «Сны ночлежки «Сан-Кристоф» (тут два из этого цикла) написаны по воспоминаниям о друзьях по несчастью — бездомных французах-бродягах и иностранцах, по той или иной причине покинувших свою страну и дом и приехавших во Францию в надежде на лучшую долю. «Дозелянты» — негласное их имя. Вместе с ними одиннадцать лет назад я коротала холодные осенние и зимние ночи в приюте убогих и обиженных «Сан-Кристоф» в Анси. Город этот в департаменте Верхняя Савойя. Решение покинуть Узбекистан, где я десять лет прожила в Самарканде, возникло в 1999 году после того, как окна нашей квартиры в центре города обстреляли. К счастью, тогда никто не пострадал, хотя люди сидели как раз напротив — шло собрание актива русского культурного центра «Ярославна», открытого в 1996 году мной и младшей сестрой впервые в истории Самаркандской области. В Самарканде я работала в редакции областной газеты «Вестник», была первым редактором городской газеты «Самарканд», возглавляла отдел на областном телевидении. Объявленная в 1991 году в Узбекистане независимость больно ударила по русскоязычному населению. Пришлось срочно покидать обжитое место.

...Ранним утром 6 октября 2000 года я пришла в префектуру Анси и попросила статус политической беженки. С этого момента и началось мое знакомство с жизнью и обитателями приюта «Сан-Кристоф».

Черная Лили

На деревянной лежанке внизу разметалась во сне молодая африканка Лили. Улыбается чему-то и шевелит беззвучно губами, как будто поет или молится. Снится черной беженке веселый праздник в своей деревне. Полная луна щедро льет серебро на площадь. Со счастливым пением танцуют ожившие статуэтки — молодые девушки. Зажигаящие вращают и качают крутыми упругими бедрами, упираются ладонями в колени — надеются привлечь будущих женихов. Танец их — чудо! Жемчуг пуговиц на ярких блузках сверху до низу спины мерцает при каждом движении. Звязанный на талии кусок ткани распахивается в вихре и трепете танца... Ритмичные дробные звуки тамтама заставляют в такт с ними биться сердца участников чарующего действия. Музыканты гордо смотрят на танцующих красавиц.

122

Обмирающие от любовной феерии наблюдатели бешено аплодируют диким пляскам молодых ягодиц. Неожиданно появляются, приближаясь неторопливой походкой, мужчины. Высокомерной молодостью и статью они вызывают бурное восхищение стариков, женщин и молодежи, пришедшей посмотреть на праздник. Мужчины — сильные — все как на подбор мачо. Женщины лишены права голоса. Мужчинам нет ни в чем запрета. Женщины же не смеют им противоречить... И вдруг «властители» забыли про свой «мачизм»,

готовы пресмыкаться, высунув языки в желании считать всю ночь перламутровые пуговицы на гибких спинах танцовщиц, вплоть до забытья собственных имен. Впились обезумевшими глазами в лукавые «вышивки» стремительных ножек танцовщиц по горячему и ночью африканскому воздуху.

Готовы взлететь, как птицы, с глазами, горящими желанием и страстью обладания. Хорошо читают «мачо» в соблазнительных «па» танцовщиц всю их власть над собой — укрощающую, обладающую и повелевающую думать, что они сильные. В то время как доминирует над ними всего лишь временный лунный свет, магия танца, извивы гибких тонких талий и раскачивающиеся пышные бедра. Легкая ткань трепещет, колышется от стремительных дробных движений, на короткие, сводящие с ума мгновения, чуть обнажает вечную женскую загадку между быстрых черных ножек.

Кроме глаз, чтобы плакать

Как-то после ужина в нашем убежище «Сан-Кристоф» застаю Лили пишущей письмо. «Проверь», — просит она, — наверное, ошибок тьма, хоть в Кот-д'Ивуар в школе учила французский. У нас его преподают с колониальных времен». Я ничего не сказала о «постсоветской» системе обучения иностранным языкам в школе. Во Франции сама за несколько месяцев обучилась беглому чтению, письму и уже начала сносно разговаривать на новом языке. Но проверять ошибки? Все же отказываться не стала, взяла листок. «Как Вам вы-сказать свою благодарить за все? У меня не хватает слов. Никто для нас не сделал бы столько, сколько Вы. И ты, Тит, когда ты узнал, что мы ограблены, обобранны до нитки... Ты не засомневался и, следуя своей большой природной доброте, подставил плечо. Говорят, что за хорошим мужчиной всегда стоит хорошая женщина. Это ты, Мариц. Да благословит тебя Господь! Однажды Он тебе с Титом воздаст обоим. Я верю. Как много ты сделала для нас! Смогу ли я тебе отплатить

123

за всю твою доброту? Вряд ли, потому что твой поступок бесценен. Даже если бы владеть всеми богатствами мира, то и этого не достаточно, чтобы воздать тебе за твое благородное сердце. Я знаю, что такое убежать из страны. Я знаю еще больше, что такое все потерять. Все, действительно все. Все — ты можешь подтвердить. Ты нас видела, когда твой муж привел нас с улицы в ваш дом без денег, вещей, еды и без малейшей перспективы на работу в чужой стране, где таких, как мы, каждый день прибывает сотни. Как вас отблагодарить? Я не знаю. Все, что я могу — это произнести слово «Спасибо». Спасибо вам! Мир с вами! Оставайтесь такими, какие вы есть. Есть еще такие люди, как вы? Да или нет? И где их можно найти? Я подскажу: на Мариньи Сан-Марсель в Бессон. Здесь живут Тит с Мариц — муж и жена — такие добрые, приветливые, приятные и чуткие! Судьба позволила нам встретиться с вами в самый трудный и ужасный момент жизни, когда у нас не было ничего, кроме глаз, чтобы плакать».

124

СВЕТЛАНА КОЧЕРГИНА,

Париж

«ЗАМОРОЖЕННЫМИ ПАЛЬЦАМИ ПО КЛАВИШАМ...»

Стихи

Л. Ю. Б. Л. Ю.

И в пролет не брошусь,

и не выпью яда,
и курок не смогу над виском нажать.
Надо мною,
кроме твоего взгляда,
не властно лезвие ни одного ножа.
Владимир Маяковский
Дни идут.
Как горошины из стручка в детстве
ссыпались в оборки платья.
Как деревянный колодец со скрипом натянутого ведра.
Как непрошенные объятия
вернувшейся с молоком старухи.
Как вытянутые от скрупулезной работы руки.
Как вечная кинолента без монтажа.
Как порез
Лезвием втрое сложенного ножа —
Дни.
Март еще не разменян, но обречен.
Она одергивает плечо. —
Четырнадцатого
Покончу сче́ты.
Свобода сгорбливается в крючок
Того коридора, где вешал свое пальто,
Где сердцем, не легким, постиг глоток,
И строки рубил, и вмещал меж строк
Взведенный дважды (не у виска) курок.
Там я узнаю, что Бог
Есть.
И что решения исконно равны нулю,
Что смыслы все закольцованы в Л. Ю. Б. Л. Ю. Б. Л. Ю.
125

Моцарт

признание в любви, — от наваждения,
слезами в катарсис и смертью вдоль полей,
залитых кольцами сияющих огней, —
до пароксизма головокружения.
слова безлики. Белые листы
измученной тетради для набросков —
моя душа. И опьяненным воском
я растекаюсь на его черты
в льняную нить распуценного троса
мне в эту ночь играет Вольфганг Моцарт.
над невесомым танцем океана
вселенная от forte переходит к piano
***** (Пройдя последний, седьмой, круг ада)**
пройдя последний, седьмой, круг ада,
мы становимся чистыми перед миром.
твои руки пахнут табачным ядом,
как мышеловки — предсмертным сыром.
зритель расходится по ролям,
по потаенным углам своим, по планетам.
мы остаемся. (за кадром). нам
не хватает пространства, времен и света.
мы, отражением стенных теней,
теперь осознанным и безгрешным,
привносим трепет в глаза людей, —
тем обрекая себя на нежность.
не видим букв — только между строк

читать умеем. и много курим.
я по привычке взвожу курок,
ты — загораживаешь от пули.
здесь не помогут ни поезда,
ни покровители, ни гримеры, —
в нас вся вселенская острота,
мятежно рвущаяся на волю.

126

***** (Пора бросать писательство и бдения)**

пора бросать писательство и бдения,
как пьянство, доведенные до участи,
и круг друзей менять, и откровением
себя и окружающих не мучить.
пора кончать расхаживать в рубашках
и вязаных жилетах (для мужчин),
и поражаться с Эйфелевой башни
не возвращаться множеству причин.
не выбирать меж криком и молчанием,
но научиться говорить в полутонах.
не путать смелость с горловым отчаянием,
привязанность — с клеймами на плечах.
все довершить — торжественно и тонко.
чтоб где-то там, в заблудших небесах,
родиться впечатлительным ребенком
с пугающей ясностью в глазах.

Замороженными пальцами

Невыносимо только то, что вынести можно все.

Артюрь Рембо

замороженными пальцами по клавишам
отбиваю тебе строки с отменным смыслом, —
чувства, как рыбы в стакане плавающие,
сбивают с первостепенной мысли.
«погода у моря, должно быть, жаркая?
(как твои губы рябиновой смежностью,
смочь бы произнести-по-буквам как жалко мне
каждой секунды ушедшей нежности)
«да, все как прежде, зима стабильная.
(на льду скрежещущем, каблуками
я выкорчевываю тоску звериную
из внутренних органов — сорняками).
«невыносимо, что все выносимо...
(взамен порыва бесчестить вены —
бесшумно плачу, всех библий мимо,
над письмами А. Рембо к Верлену)

127

Конечно, Бог

Разница между прозой и поэзией примерно такая же,
как между пехотой и военно-воздушными силами

Иосиф Бродский

в серебряных лучах крошился талый снег,
и ангельская музыка свисала
над влажностью полуприкрытых век
среди Дворцовой камерного зала.
проекторы искали выход ввысь
на плотном сером небе Петербурга,
и я подумала, что все мы родились
от взмаха кисти злого драматурга;
что наша жизнь — аквариум с водой,

мы рыбы, не всплывавшие на сушу.
а там сверху, над самой головой,
хмельной писатель правит наши души.
он нам сулил незаурядный рок, —
«поэзии как BBC — на фоне прозы», —
твоей рукой писал, конечно, Бог,
и по любимому лицу катились слезы.

***** (Небо, в цвет водосточной трубы)**

небо, в цвет водосточной трубы,
обнимает меня долгожданно,
над моей головою — гербы,
на руке — едкий след чемодана.
я иду по рябинам в снегу
без колец, макияжа, эмоций, —
Петербург в уходящем году
братски выдержанно не бросок.
что мне это дворянство в крови
да промозглые чаяния ветров? —
между мной и тобою любви
уже тысячи три километров.
отчего ты всегда так грустишь? —
будто некогда дерзкая цаца
променяла тебя на Париж,
не умея ни с кем оставаться...
128

***** (Быть может)**

быть может, через сотни тысяч лет,
я буду, очень женственной, в халате,
впускать в распахнутые окна свет,
поднявшись поутру с кровати.
на старом обветшалом чердаке
устрою небольшую мастерскую,
где с городом, шумящим вдалеке
цветной свой полонез станцию.
борзые, очумевшие от ласк,
устроят морды на моих коленях,
и несколько грассированный баск,
замеченный в размытых акварелях,
подаст мне мятный охлажденный чай,
чтоб прошлое, ком в горле, запивала,
и стало вдруг несложно ощущать,
что боли нет. и вовсе не бывало.

Переживи стих

Два, а не шаг вперед,
И никаких прыжков.
Время меня ведет —
Бойтесь его клыков.
Павел Голушко

1

верю в тебя, в себя.
кроме — не нужно вер.
локон твой в цвет дождя
стал серебристо-сер.
руки закинув за
голову, отклонюсь,
и отведу глаза, —
так за тебя боюсь.
ты мой и свет и смех, —
таящий смех снегов,

ты переплакал всех, —
«счастье — удел коров».

129

2

слезы сольем в алмаз, —
рифм грациозных звук,
зло далеко от нас,
мой благодушный друг.
осень стирает след
времени на лице, —
смерть уже столько лет
цурится в свой прицел.
здесь основная роль —
не выдать что ты готов, —
твердое ми-бемоль
слышать — удел Богов.

3

мир мой в пределе чувств, —
вечный надрыв и нрав
вырванного из уст,
сказанного стремглав.
кланяюсь я врагам
ниже травы в степи,
чтобы на их курган
было кому взойти.
крылья залью вином
и поцелую взмах
выжженным мной клеймом
на раболепских лбах.

4

здесь ни при чем Париж,
Цюрих или Стокгольм, —
так же везде грустишь,
возишь повсюду боль.
я не француз и не
жажду им быть, но все ж
роется мысль в уме —
в этой стране все ложь, —
дышишь своим вчера,
вздохом облегчив грудь, —
осень. нам вновь пора
ехать куда-нибудь

130

5

думать в проем окна,
душу стихами греть,
выплеснув все до дна,
что только мог иметь.
слушать зеркальный звон
выцербленных путей, —
каждая из сторон
вдвое себя длинней. —
так выпадают из
бешеной суеты, —
судьбы людей — эскиз,
наши — холсты, холсты...

6

шелест бумаг и книг, —
пальцам творца — миры,

вложенный в букву крик
 слышат те, кто умны.
 не закрывая глаз,
 страху глядим в лицо,
 ноем потоком фраз,
 легших в виски свинцом, —
 нам без конца гореть
 в зареве самых бед, —
 мы приручили смерть, —
 в этом наш весь секрет.

У меня характер Пикассо

у меня характер Пикассо, —
 исключительно безобразный,
 передать его лучше в масле,
 по-Сутински, — багрово-красным.
 в бесконечно-желтом Ван Гога,
 заподозрив природу в смерти,
 отразить мою веру в Бога,
 завихрением круговерти.

131

мою душу — по-Врубелю синим,
 над обрывом, где Демон плачет,
 чтобы вышло слегка спесиво,
 глубоко и немного мрачно.
 изо всех художников мира,
 одного лишь во мне выделяя,
 ты, как Жанна, за столь любимым
 и безумным идешь Модильяни.

132

ПАВЕЛ ГОЛУШКО,

Стокгольм

«МЕРЦАЮЩАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ...»

Стихи

Дора

Становилось так темно, что в полдень
 на небе были видны звезды...

Пабло Пикассо

На черно-белый кадр ложится слово, вдруг превращаясь в нож,
 врываясь в стиль, вгрызаясь в очертания живого, и на семь лет
 зажежен любви фитиль...

Презрев условности, у ног лежит богема, мундштук зажат
 в забстренный пурпур, и разность мнений вытекает в le tma
 сквозь сферы из мистических фигур...

Веселый гомон беззаботного Парижа уже не в силах погасить
 пожар... «все хорошо, прекрасная маркиза»
 приобретает смысл, лаская влажность жал...

Не холст, свидетель века — фотопленка — покадрово снимает
 репортаж рождения искусства, как ребенка,
 сквозь стоны, крики, треск... немой монтаж...

В оставшихся осколках новой жизни мы бродим, как свидетели
 примет, свет звезд в портретах кажется нам ближним,
 и лишь талант у алтаря отпет.

Сны перед Рождеством

Грядущих праздников хрустальный лед звенит тоской
 стареющего доктора Живаго

Париж на Елисейские манит', желаньем прибавляя скорость шага...
 стихи спасают рифмой тишину...

мне весть о встрече прозвучит из мрака...

133

*и кто-то, бледный лоб прижав к стеклу, меня смутит гримасою
маньяка...*

*согрет надеждой каждый новый день, и путь, ведущий к встрече,
обозначен...*

и Ангел изгоняет страх и лень...

приходит тот, кто свыше мне назначен...

Утешит мудрость все страданья тела, сквозь свет надежды

слышу нежный шепот и понимаю, что ему нет дела

до моих страхов — слишком молод...

я медленно ступаю в звездный час, в высокий Храм и гну

смирненно выю перед музыкой стиха. Здесь Музы нас на входе

ждут, застыв, как часовые...

смирненно шествует прекрасная Весна, я на ухо шепну: «привет,

Марина»... и еле ощутимые шелка прошелестят чуть слышное:

«спасибо...»

Проснувшись рано, отойдя от сна, поправлю угли в глубине

камина... налью немного красного вина — хрусталь расцветится

оттенками кармина.

Во всем следы рождественских примет.

До новогодья остаются метры... мне черный кот бессонниц дал

совет: доверится судьбе, поверить ветру.

Взгляд любви

С Нотр-Дам улетают Химеры,

унося в поднебесье слова.

Ирина Александрова

Крылья можешь сложить, если что, протяну я ладони.

Наша Дама заре выставляет прекрасный фасад.

Как докучливых птиц с ее башен никто не прогонит,

Так никто не изменит плывущий в тумане Монмартр.

Скоро ветер осенний завалит листвою подоконник.

Краткий миг — кто-то бойко торгует фиалкой с лотка.

Я букетик несмело вложу моей даме в ладони,

И сквозь время глядит Базилика на нас свысока.

134

Беседы на кухне

Мы тоже хотим по зеленым бульварам

В широких штанах, держась лишь за руки...

Алания Брайн

И плач телефонный, и новые люди

Запутались в вывесках и тротуарах.

Их стон возвращения в скучные будни,

Рассыпался бисером в маленьких барах.

Дела и заботы съедаются снами,

Ложатся на лист одинокой строкою.

Меняются с облаком в небе местами,

И с полуулыбкой нам машут рукою.

А мы продолжаем идти сквозь витрины,

Свой взгляд нагружая осенней пастелью.

Ее добавляя в палитру картины,

Где время болеет сегодня смертельно.

Машины нам строят серьезные мины,

И город забыл, что такое закаты,

Что делает дрозд возле кисти рябины?..

135

И только рекламы, плакаты, плакаты...

А мы выбираем присутствие Музы.

*Встаем на колени к улыбкам любимых.
Рождаем мелодии ритмами блюза
И таем в объятиях неповторимых.*

Стихи — это...

«Поэт этим произведением хотел сказать...»

Да, я под Оффенбаха канкан станцую в гробу, если подобная фраза когда-нибудь прозвучит над моими стихами.

Стихотворение — это сон под тиканье ходиков, утром или вечером — не важно, только часы идут в другую сторону. Может быть, я сам никогда не узнаю, что хотел написать, перебирая клавиши...

Стихотворение — это подарок самому себе, без бантиков и коробочек.

Это напиток, рожденный пряностью цветов, из слов летописи реального бытия.

Его место в баре «Человеческой Неповторимости».

Чтобы попробовать его, нужно снять с себя сотню масок и остаться в единственной, которой давно перестал стесняться, глядя в зеркало.

И когда изображение медленно окунется в стихи, я вздрогну от сказочных прикосновений и осознаю равноудаленность двух одиночеств.

Закройте глаза и подарите мыслям свободу полета стрекозы над рекой под музыку Моцарта, текущую в другом измерении.

И пусть воздушный поцелуй бабочки вернет вас в глубину любящего взгляда графикой новых пейзажей....

Это и есть мерцающая действительность Стиха.

136

ИРИНА ВОЛОДИНА

Париж

ПРЕДРАССВЕТНЫЙ ЧАС,

или

Разговор о времени и его хранителях

В предраассветный час есть такие минуты, когда душа ожидает от наступающего дня только радостного, спокойного и легкого. Как писал поэт-эмигрант Вадим Делоне: «...когда, ежели что и припоминаешь из прошлого, то одно лишь светлое, а будущее не гнетет и не тревожит».

Нечто подобное я испытала, когда встретила с писательницей (автором ряда замечательных книг по истории русской кухни) Розой Лемперт в ее квартире, в доме в одном из старых уголков Парижа. Наша беседа предполагалась быть недолгой, но затянулась — к моему великому удовольствию. Разговор шел о судьбах русской эмиграции, об отце Розы, Иосифе Мироновиче Лемперте, известном коллекционере русского искусства. И конечно о главном деле его жизни — старейшем в Париже русском книжном антикварном магазине «Санкт-Петербург»¹.

— Роза, вы — семья — приехали во Францию в 60-е годы?

— Да, в 1967-м. Можно сказать, что в какой-то мере предтечи «третьей волны» эмиграции, или самое ее начало...

Моя мама Зинаида Зиновьевна по происхождению поляка. Отец Иосиф Миронович русский, офицер Советской армии. Прошел всю войну, был ранен под Сталинградом. В 1957 году семья, покинув советскую Украину, переехала в Польшу. Папа не принял польское гражданство, ему выдали нансеновский паспорт — для лиц без гражданства и беженцев. Этот «странный» паспорт позднее очень помог,

когда поляки не выпускали нас за границу. «На каком основании вы
 1 Об этом интересном человеке см. также публикации: Амурский В. «Санкт-Петербург» — антикварный магазин» // Новое русское слово. Нью-Йорк, 11–12 февраля 1995 г.; Абрамова Ж. «Иосиф Миронович Лемперт: Очерк о библиофиле и антикваре, парижанине, влюбленном в русскую культуру» // Русские евреи во Франции (сер. «Русское еврейство в зарубежье». Том 3(8)). Иерусалим, 2001. 137

задерживаете, если я не поляк?» — задал резонный вопрос отец, и мы шагнули в новую жизнь...

— И как встретила вас Франция?

— В Париже нас сразу взяла под свою опеку Софья Михайловна Зернова, с которой познакомились еще в Польше. Удивительной души человек. Не могу не сказать о ней несколько слов. В Монжероне, под Парижем, в старинном замке Софья Михайловна организовала дом для русских детей-сирот. Там же в 1935 году открылся «Центр помощи русским в эмиграции». Со временем беспризорных детей становилось все меньше, приют начали заполнять русские диссиденты — писатели, художники. Здесь жил практически весь цвет советской эмиграции до того времени, пока им не находили подходящего жилья... Как сегодня обстоят дела в Монжероне, увы, не знаю.

Хлопотами Софьи Михайловны наша семья также получила пусть временную, но крышу над головой. Питались в основном... лимонадом и сардинами. Польские власти, выезжающим за границу, будь то на временное или постоянное пребывание, меняли всего по пять долларов на человека. Большая часть денег ушла на билет для собаки. Так что, когда мы добрались до Парижа, содержимое наших карманов было весьма скудным: всего два доллара!..

Меня, по просьбе Софьи Михайловны, взял на работу Дима фон Кепен. Это был русский немец и самая светлая личность, которую я встретила здесь, на Западе. Я хорошо печатала на машинке, но только по-польски. Дима научил печатать по-русски, и Софья Михайловна устроила меня в Организацию Объединенных Наций в Женеву, машинисткой в русский отдел.

Мама стала компаньонкой французской художницы Сони Терк-Делоне. Русская по происхождению, в конце своей жизни она хотела с кем-нибудь общаться на родном языке. Познакомившись с мамой, она сразу же ее полюбила. Хочу напомнить, что Соня была очень интересным человеком: первой художницей, которая имела персональную выставку в Лувре, кажется, в 1964 году, а еще через десять лет она стала кавалером Ордена Почетного легиона.

Папу взяли на работу на склад у известного книжного торговца Каплана, опять же благодаря Софье Михайловне. Это было огромное книготорговое дело. Зарубежные библиотеки страдали от нехватки книг и журналов, издаваемых в Советском Союзе. Каплан сумел наладить с «Международной книгой» канал закупок. Книги поступали к нему, а он продавал их библиотекам, университетам, в том числе американским. Со склада отправлялись заказы по разным адресам, а

138
 для посетителей был открыт Дом книги на улице Эперон. Это в самом центре Парижа, около площади Сен-Мишель.

— Иосифа Лемперта многие знают как авторитетного коллекционера, владельца, можно сказать, уникального магазина русских изданий и антиквариата. Интересно, а когда у него появилась страсть к собирательству? С чего все началось?

— Несмотря на сложные жизненные ситуации, он всю жизнь был страстным коллекционером.

Сразу после войны, когда мы жили во Львове, и папа работал административным директором Львовского театра Музкомедии, его коллекция пластинок Александра Вертинского считалась самой большой в стране.

Только на минуту представьте, что значило в то время собрать подобную коллекцию. В Советском Союзе Вертинского при жизни практически не издавали. Пластинки привозились из-за границы, выискивались на толкучках. Папа не пропускал ни одну барахолку, и порой за одну старую пластинку любимого певца выкладывал все, что зарабатывал за месяц.

Вертинский частенько приезжал с гастролями во Львов. Бывал у нас дома и однажды на полном серьезе сказал папе: «У меня к тебе есть просьба. Если ты умрешь, то завещаешь мне мои пластинки». Вертинскому тогда было около 70 лет, а папе всего 33 года.

Я знала наизусть все песни и стихи Вертинского. Что вполне естественно, если учесть, что под его голос, льющийся из проигрывателя, я засыпала и просыпалась. Никогда не сомневалась, считая Александра Николаевича величайшим поэтом. Только вслушайтесь:

Ваши пальцы пахнут ладаном,

А в ресницах спит печаль.

Ничего теперь не надо нам,

Никого теперь не жаль...

А разве можно забыть его «Чужие города» на слова Раисы Блох?!

Перед отъездом в Польшу папа продал все пластинки одному коллекционеру из Москвы. Потом, уже во Франции, собрал коллекцию заново.

— Два доллара в кармане и — один из крупнейших русских коллекционеров Парижа... Какая же цепь событий помогла связать до такой степени различные эпизоды биографии?

— В дореволюционной Польше русская культура высоко ценилась. Но пришло время, когда все стало с точностью до наоборот.

139

И папа просто-напросто испугался, что исчезнет определенный кусок русской истории. Тогда он начал скупать, порой за смешные деньги, любые вещи, связанные с Россией, то, что порой буквально валялось под ногами, без всякой надобности. Из Польши во Францию мы привезли много книг. Когда папа стал работать в лицее ассистентом русского языка (он к тому времени уже оставил работу у Каплана), появилось больше свободного времени, и его врожденное коллекционерство развернулось в полную силу. Я уехала работать в Женеву, а сестра писала мне, что папа все заработанное снова тратит на «какие-то ненужные бумаги», что так у нас никогда не будет денег. Папа убеждал, что не может по-другому. «Ну как же, — горячился он, — как, спрашиваю я вас, можно пройти мимо русского ордена, который просто валяется на земле в соседстве со старыми лампами и никому не нужным барахлом?!» Такого отец вынести не мог и — покупал, покупал, покупал... Правда, подобные вещи тогда практически ничего не стоили. К примеру, орден Святой Анны папа приобрел за бесценок, за какие-то 50 франков, по тем временам — суищие гроши.

— А что было дальше?

— Когда появился наш первый магазин, — это было на улице Сен-Оноре, в доме 91 — никто в семье не думал, что из этой затеи получится что-то серьезное. Мы продолжали работать: папа — в лицее, я — уже в ЮНЕСКО, здесь, в Париже, мама — у Сони Делоне. Сторожили магазин по очереди. Крутились, как могли, ради нашего общего дела. Поначалу особого дохода торговля русскими книгами

не приносила. Но было весело! Случались удивительные события. Папе вдруг звонили: «Иосиф Миронович, приезжайте по такому-то адресу. Там русские книги жгут!», или: «На стройке рабочие рвут русские книги и застилают полы!». Папа срывался и бежал спасать, что еще можно было спасти.

Бывали и совершенно невероятные случаи. Как-то раз в Женеве я прохожу мимо букинистической лавочки, и вижу русские книги. Купила, посмотрела, кому они принадлежали, нашла в телефонном справочнике номер телефона. Звоню туда, говорю: «Здравствуйте, это вы продали русские книги?» А мне по-французски отвечают, что тот господин умер, но после него осталось много русских вещей и никому не известно, что с ними делать. Я, конечно же, напрашиваюсь в гости. Оказывается, господин, который умер, был швейцарцем, и в свое время служил учителем русского царевича. Осталось много дорогих вещей, но меня волновали только книги.

И подобных ситуаций в то время было множество.

— Расскажите! Это ведь так интересно!

140

— Папа не водил машину, я водила и всегда с ним ездила. Однажды мы поехали к вдове генерала Носович. Приобрели какие-то бумаги, книги. Папа прикупил еще совершенно ненужные открытки — с одной лишь целью: дать бедствующей вдове возможность получить не лишние для нее 100 франков. Когда мы уже вышли на улицу, она выглянула из окна и прокричала, что с левой стороны под дверью стоит перевязанная стопка каких-то бумаг, если заинтересуемся, то можем их забрать, все равно выкидывать. Папа начал смотреть и понял, что это «белый архив», архив Белой армии: письма, донесения, приказы. Мы, чрезвычайно взволнованные, притащили все в магазин. Помню еще такой эпизод. Папа частенько ходил на филателистический базар, который по выходным и раз в будние дни устраивался на углу Елисейских полей и улицы Мариньи (этот филателистический базар существует и теперь, но филателистов там меньше — много коллекционеров и продавцов телефонных карточек). Страсть к маркам в нашей семье была давней, еще с тех времен, когда мы жили в Польше. Папа просто обожал русские марки. И вот однажды, дело было в конце 70-х годов, француз-филателист предложил отцу интересные его марки. Вернее, марки были наклеены на конверты, то есть с почтовыми печатями. Есть такой вид увлечения филателией. Конвертов было много, посланных из России на парижский адрес. Папу в первую очередь заинтересовали, как ни странно, не марки, а конверты. Там на строчке адресата значилась фамилия Мережковский. Папа спросил: «А где письма, которые находились в этих конвертах?» Собеседник небрежно отмахнулся, мол, да у меня таких писем полно, два чемодана дома на чердаке валяются, не знаю куда девать. Ведь это же просто русские бумаги, они никому не нужны. Папа купил у филателиста все конверты с марками и настоял на встрече, чтобы осмотреть письма. Так был спасен потрясающий архив Зинаиды Гиппиус и Дмитрия Мережковского, куда входила не только переписка, но и личные дневники.

— Будучи немущим эмигрантом, открыть в Париже собственное дело... Чтобы решиться на такое, надо иметь не только смелость, но и некое предвиденье. Что же все-таки послужило главным толчком к подобному решению?

— Как я уже говорила, мой контракт с ООН сменился контрактом с ЮНЕСКО, и я с облегчением вернулась в Париж, к семье. Жизнь в Женеве была скучна, не для моего живого характера. Шел 1973 год.

Однажды папе позвонила женщина, француженка: «Иосиф Минович, мне дали ваши координаты. Вас еще интересуют русские книги? Муж торговал книгами и оставил целый гараж. Заберите, 141

ради всего святого!» Папа задумался. Куда можно девать гараж книг? Любопытство и неуемная энергия коллекционера взяли верх, и мы поехали. Приезжаем, дама открывает дверь гаража, и нашим глазам представляется поразительное зрелище — тысячи книг, уложенные стопками до самого потолка. Разглядываем золотые буквы на корешках: вот полное собрание сочинений Горького, а там — академическое издание Пушкина... «О-ля-ля! — воскликнул папа, — что я со всем этим буду делать?» Я предложила простой расчет. Если взять ширину и длину гаража, то получится определенное количество кубометров. На один кубометр приходится, допустим, двадцать книг. Если мы продадим хотя бы два кубометра книг, то уже окупим деньги, которые просит вдова за весь объем. Дама сообщила, что в противном случае все книги отправятся на помойку: она продает гараж вместе с домом. Пришлось выкупать. У меня имелась небольшая, но крепкая машина Пежо. Сделали 25 «заходов» и все вывезли.

В то время мы жили на Порт де ля Вилет, в 15-этажном доме. Соседи отнеслись с пониманием, одолжили свои подвалы для размещения нашего многотонного приобретения. Все книги сначала поднимались наверх — в нашу квартиру. Папа их просматривал, тщательно записывал данные. Некоторые оседали по нашим шкафам, остальные складывались в коробки и спускались в подвал. Книгами «под завязку» оказались забиты не только подвалы, но и вся наша небольшая квартира. Они лежали под ванной, на полу в прихожей, повсюду! Ситуация складывалась критическая, и я решилась. В один прекрасный день пришла домой и заявила, что пора папе покупать магазин. Родные возмутились: «Ты с ума сошла? Какой магазин! Кому русские книги здесь нужны?»

Надо сказать, что к тому времени в Париже уже почти не осталось русских магазинов. Сохранялся еще магазин издательства «ИМКА-Пресс». Одна одинокая старушка держала магазин «Офеня». Старушка умерла, наследников не оказалось, все пропало. Был еще магазин-склад Каплана, где работал отец. Но и он уже еле держался... Мы поехали на улицу Сен-Оноре, в район Ле Аль. Там тогда шли строительные работы, посреди площади зиял огромный котлован. Купив право на продажу, так называемый «бай», сняли помещение в упомянутом мной доме 91, в самом дальнем углу небольшого торгового пассажа. Я дала папе половину необходимой суммы — 30 тысяч франков, все, что удалось скопить на предыдущей работе. Мне очень хотелось иметь отдельную квартиру, но даже на первый взнос денег явно не хватало. Зато для снятия в аренду скромного помещения под магазин этой суммы оказалось достаточно. Деньги на ремонт, покупку 142

дешевых ламп и прочих элементарных мелочей мы заняли у друзей.

Они же помогли сколотить книжные полки.

— И дело сразу пошло?..

— Не совсем. Наши усилия, безусловно, увенчались успехом — магазин открылся вопреки здравому смыслу. Завезли в него книги, которые имели из гаража. Нам хватило ума понять, что продажа исключительно книг — дело пока не слишком перспективное. Добавили несколько статуэток из домашней коллекции и... стали ждать. Покупатели особо не торопились. Про рекламу мы тогда даже не подумали. Но однажды в наш скромный закуток заглянул высокий господин,

по виду явно американец. Осмотрел товар и вдруг спрашивает: «Вы что, русские?» — «Да». — «И будете продавать книги?» — «Хотелось бы, но с клиентами как-то не очень...» — «Я хочу у вас купить книги». Наш первый покупатель оказался консулом американского посольства, русским по происхождению. Потом он стал нашим другом, но мы его так и звали «Первый клиент».

Книги худо-бедно расходились, но однажды встал вопрос, чем же торговать, когда «гаражные» запасы иссякнут? И опять вмешался Его Величество Случай. Зашел в магазин Сергей Лифарь и говорит: «Иосиф Миронович, вы просто обязаны поехать на аукцион, который я организую в Монако». Папа удивился: «Зачем я поеду на аукцион, когда у меня нет денег даже на дорогу». «Я продаю книги из коллекции Дягилева. Поезжайте, может, что-нибудь купите». «Так у меня их не на что покупать». «Поезжайте. Вы не можете не поехать». Папа буквально вывернул карманы, наскреб какие-то гроши, купил самый дешевый билет и поехал. Ну, сидит на аукционе, смотрит, как идут торги. Рядом с ним — господин Гринберг, торговец книгами. Поинтересовался, отчего это Иосиф Лемперт ничего не покупает. Папа расхохотался. Зарплаты ассистента русского языка хватало лишь на покрытие расходов по обслуживанию магазина. Не до аукционов, «быть бы живу». И вдруг Гринберг вынимает чековую книжку, ставит свою подпись, не указывая суммы: «Иосиф Миронович, вот вам чек. Тратьте любую сумму. Отдадите, когда сможете». Это был знак судьбы, какое-то невероятное стечение обстоятельств! Папа тогда купил книг на 25 тысяч франков. Мне пришлось брать на работе кредит, но долг мы вернули очень скоро — это было дело чести.

После смерти Гринберга в Париже его жена хотела продать оставшиеся книги папе, но... Папа не мог покупать книги ушедших друзей — душа болела. Такая же история произошла с наследством близкого друга отца, племянника Марка Алданова, Александра Яковлевича Полонского.

143

— Совсем недавно я открыла для себя еще одно имя из писательской плеяды русского зарубежья. Илья Дмитриевич Сургучев, прозаик и драматург. Его романами зачитывались, пьесы блистали на подмостках Художественного театра, но слава рано померкла и тихо угасла вместе с ним в эмиграции. Так вот, в одном из романов мое внимание привлекли такие строчки: «Купить «вещь» может всякий осел, нагруженный золотом, но «читать» вещь, отыскивать в ней душу — это дар божий».

— Абсолютно точно сказано. И мой отец обладал таким божьим даром.

Папа был удивительным коллекционером, он действительно чувствовал вещи, ценил отраженную в них историю.

Впервые попав во Францию, папа вдруг увидел, что вместе с людьми — осколками самой крупной русской эмиграции — безвозвратно уходит в небытие один из значительных этапов русской истории.

Что память, в том числе хранящаяся и в вещах, исчезает, сжигается, выбрасывается на помойку, попадает в руки черных арт-дилеров.

Крупницы истории — письма, дневники, выходившая периодика — имели ценность для нашей семьи не меньшую, чем дорогие и редкие издания. Папа верил: придет время, когда пусть не сами люди, но память о них, наследие великой русской эмиграции вернется на родину.

— А можно поподробнее об упомянутом архиве Зинаиды Гиппиус?

— Как только известие о находке архива Гиппиус и ее мужа —

Дмитрия Мережковского — распространилось в кругах книжников,

тут же вокруг нашего магазина начали крутиться личности, готовые раскупить бумаги по частям, предлагали большие деньги. Отец сказал свое твердое «нет». Если продавать, то весь архив целиком и только библиотеке или музею. О советских музеях речи не было, во-первых, по той причине, что они не имели денег, во-вторых, потому что им никто не доверял. И тому были причины. К примеру, князь Мецкерский отдал Советской России большую коллекцию книг, которую тут же разворовали: с точки зрения государства и тогдашних правителей сей щедрый подарок не имел никакой ценности.

Отец никоим образом не желал редчайшему архиву подобной участи. И все продал библиотеке Вашингтонского университета. Папа был просто одержим идеей: не дать исчезнуть следам прошлой жизни. Приходил одно время в магазин очень пожилой человек. Сидел долго, что-то рассказывал. И в один прекрасный день вдруг исчез. Папа заволновался и даже начал его искать. Вдруг старик объявляется. И рассказывает, что у него случилось несчастье — умерла жена. И вот он сидел у камина и жег ее письма. Нашел на чердаке

144
два чемодана с бумагами. Попадались и любовные послания. Писал их поклонник жены, какой-то Сири...

Папа обомлел. Так значит, жена старичка и есть знаменитая парижская любовь Владимира Набокова! Папа переживал ужасно, было до слез обидно. Надо же такому случиться, что давний знакомый, о котором, казалось бы, уже все было известно, целых две недели бессмысленно уничтожал бумаги, бесценные для любого, кто знает и любит русскую литературу.

— На ваш взгляд, в чем была причина подобного безразличия, или точнее сказать, глухой отстраненности от собственной исторической памяти?

— Очень многим детям революционной русской эмиграции прошлое было совершенно не интересно. Они усердно прятали русские концы. Забавно. Потому что возвращение к «русскости» наблюдается сейчас у их детей, у внуков первой волны эмиграции. А было время, когда детей буквально заставляли говорить по-русски. Может обстановка во Франции сложилась такая, что иностранцев не сильно жаловали? Однозначный ответ дать нельзя.

Чувство брошенной родины оставалось только у стариков. Те сидели на чемоданах, не учили французский язык, — мечтали вернуться. Многие, как Алексей Михайлович Ремизов, Вадим Андреев — сын Леонида Андреева, просили советское гражданство. Были и такие, кого Франция выдворила. Семью Кривошеиных буквально выкинули за прокоммунистические взгляды, за советскую пропаганду. А ведь глава семьи, Игорь Александрович, светлая личность, прошел ужасы концлагеря «Бухенвальд», был одним из лидеров Сопротивления!

Я только теперь отдаю себе отчет, до какой степени русские эмигранты в большинстве своем были несчастными людьми. Присмотритесь к их судьбам. Одиночество и сломанная жизнь — обычный удел. Да, их не ставили к стенке чекисты, они не умирали в Гулаге, на полях Великой Отечественной. Им досталась другая участь — уходить долго, мучительно, бесславно. Об этом стараются не говорить, а я по собственному опыту жизни не раз с подобным соприкасалась. Видела, знала: это были одинокие, всеми брошенные люди.

Мне кажется, есть еще одна причина, по которой старики не стремились сохранять память о прошлом. Не хочется об этом говорить, но что делать, было...

Надежда вернуться на Родину не растаяла даже тогда, когда все поняли, что советская власть пришла всерьез и надолго. В этом бесконечном ожидании согревали и придавали силы те немногие

145

вещи, которые удалось вывезти из дорогой сердцу России. И когда появлялся человек, обещавший передать этих милых сердцу свидетелей истории в какой-нибудь российский музей, многие русские эмигранты мгновенно откликались и отдавали самое заветное, самое дорогое. Но реальность и здесь их не щадила.

Знакомая пожилая эмигрантка как-то рассказывала, что передала одному русскому музею все ордена и медали мужа. И вдруг этот «русский музей», довольно импозантного вида, приходит к папе и пытается продать... те самые ордена и медали! Папа его прогнал. Потом выяснилось, что таким образом этот человек ограбил и других стариков.

Ох, сколько таких случаев на моей памяти...

— Два года назад Иосифа Мироновича не стало. Что изменилось в магазине с его уходом?

— Папа умер 31 января 2009 года, ему было 89 лет.

В магазине, который последние годы остается на улице Миромениль в доме 106, теперь работают сестра с племянником. Мама, Зинаида Зиновьевна, им помогает.

Отец собрал, сохранил много интересных вещей. До сих пор мы иногда делаем для себя какие-то открытия. Так, к примеру, в одной из коробок с документацией, о содержимом которых знал только папа, я обнаружила дневник времен Гражданской войны неизвестного белого офицера, полковника. Ни имени, ни звания, ни истории появления дневника... Читаешь и поражаешься тому, как живо, ярко описаны разные сцены, эпизоды, словно история дышит рядом... Но кто был этот воин? У кого теперь спросишь? Много фактического материала, от руки нарисованные карты. Хочу обратиться к знакомому историку, попросить помочь восстановить фамилию автора. Думаю, что это возможно, к дневнику прилагаются еще какие-то бумаги.

— Согласны ли вы с тем, что русский магазин здесь, в Париже, городе массовой эмиграции из России, больше, чем просто торговый дом?

— Пожалуй, да. Он становится, в той или иной степени, центром, куда тянутся люди, кому не безразлична русская культура. Куда после смерти русских парижан стекаются личные дневники, воспоминания, отпечатанные от руки мемуары, вряд ли когда-нибудь изданные. И не только. Мы всегда были очень тесно связаны с той волной эмиграции, к которой относились сами.

Взять, к примеру, Вадима Делоне. После эмиграции из Советского Союза он, довольно молодой еще человек, приехал в Париж. Мы старались помочь ему устроиться здесь, как когда-то хорошие люди

146

помогали нам. Вадим писал потрясающие стихи и говорил, что готов вернуться в Советский Союз пешком. «Как, — удивлялась я, — даже после того, что с тобой там сделали?». «Да, — отвечал он. — Русские поэты здесь никому не нужны».

В 1983 году, когда Вадима не стало, Виктор Некрасов писал: «Ох, нечасто встречаются люди, подобные Вадиму и его жене Ире. Денег у них никогда не было, но когда появлялись — то сразу же посылались посылки в Москву. Родным, друзьям. Без конца звонили в Москву — нужен был живой голос, близкий, родной...»

Да, он вел не самый правильный образ жизни, мало писал, мень-

ше, чем нам хотелось бы, но ему не хватало воздуха, не хватало Москвы, друзей. И он не выдержал. Умер. И мне, нам будет очень его не хватать — удивительного, чистого забулдыги-поэта, товарища и очень хорошего, доброго человека».

Тогдашний мэр города Сент-Женевьев-де-Буа, коммунист, отказался дать разрешение для захоронения на русском кладбище диссидента, поэтому Вадим похоронен на Новом Венсенском кладбище в Фонтене-су-Буа под Парижем.

В наше время, говоря о русской эмиграции, невозможно ограничить ее конкретными временными рамками: первая, вторая, третья... Сегодня русская эмиграция стала одним целым. Каждая ее «волна» выплескивала на чужой берег множество талантливых, творческих, ярких сограждан земли российской.

Сейчас их имена понемногу возвращаются в русскую литературу, искусство, науку. Порой благодаря лишь памяти близких, но чаще — в рукописях, книгах, собранных и сохраненных такими увлеченными людьми, как мой отец.

147

ПОСТСКРИПТУМ «ГЛАГОЛА».

НЕУВЯДАЕМАЯ ПАМЯТЬ

Раиса БЛОХ (Санкт-Петербург, 1899 г. — нацистский концлагерь в Германии, точная дата смерти неизвестна, ориентировочно — конец 1943 — начало 1944 г.)

Поэт, переводчик, специалист по истории Средневековья.

В эмиграции с 1922 года, жила сначала в Берлине, а в 1933 году обосновалась в Париже. До войны публиковалась в разных изданиях русской эмиграции. При жизни вышло три сборника ее стихов: «Мой город» (Берлин, 1928), «Тишина» (Берлин, 1936) и «Заветы» (совместно с Миррой Бородиной; Брюссель, 1939). Особую известность Р. Блох получила благодаря стихотворению «Принесла случайная молва...» (первая публикация в сб. берлинских поэтов «Рош», 1932), которое исполнял на своих концертах в ритме танго Александр Вертинский, объявляя его как «Чужие города». Во время гитлеровской оккупации Франции Р. Блох была арестована, из лагеря Дранси депортирована через Мец (Лотарингия) в Германию. Из поезда, увозившего ее на мученическую гибель, выбросила записку о себе, датированную 20.XI.1943 г. Муж Р. Блох, Михаил Горлин (Санкт-Петербург, 1909 г.р.) — поэт, переводчик, ученый-славист, проделавший тот же путь в эмиграции, издавший единственный сборник стихов «Путешествия» (Берлин, 1936), был арестован во Франции 1941 году и депортирован в Германию. Точная дата и место смерти неизвестны. Предположительно: Силезия, 1943 г. Поэты Р. Блох и М. Горлина соединились в их посмертном сборнике «Избранные стихотворения» (изд. «Рифма», Париж. 1959).

Из антологии зарубежной поэзии «Якорь»,

Изд. «Петрополис», Берлин, 1936 г.

* * *

Принесла случайная молва

Милые, ненужные слова:

Летний Сад, Фонтанка и Нева.

Вы, слова залетные, куда?

Здесь шумят чужие города

И чужая плещется вода.

148

Вас не взять, не спрятать, не прогнать.

Надо жить — не надо вспоминать.
 Чтобы больно не было опять.
 Не идти ведь по снегу к реке,
 Пряча щеки в пензенском платке,
 Рукавица в маминой руке.
 Это было, было и прошло,
 Что прошло — то вьюгой замело.
 Оттого так пусто и светло.

Из сборника «Мой город»

* * *

Мне был отчизной город белый,
 Где ветер треплет вымпела,
 И оттого я звонко пела
 И беззаботная жила.
 Мне был дорогой снег широкий,
 Светлей и выше тишины,
 И оттого я знала сроки
 Ручьев и солнца, и весны.
 Мне был звездой корабль червонный
 На тонком шпиле вознесен,
 Плывущий в синий, многозвонный,
 Неугасимый небосклон, —
 И оттого, куда б ни шла я,
 Который день, который год,
 Звезда нетленно-золотая
 Передо мною восстает.
 1926 г.

Из сборника «Тишина»

* * *

Я не пишу и не творю,
 А только тихо и покорно
 Плыву в горячую зарю,
 Что мне открылась ночью черной.
 149

И разве то моя вина,
 Что ежедневно, ежечасно
 Я, Божий колокол напрасный,
 Звенеть и петь осуждена.

Михаил ГОРЛИН

(Санкт-Петербург, 1909 — Германия, Силезия,
 нацистский концлагерь — 1943 (?))

Из сборника «Путешествия»

Париж впервые

Париж,
 И вид из окна отеля впервые на Arc de Triomphe.
 О, гигантское П, начинающее священную песню Парижа!
 Говорят, что где-то есть Момартр и дорогие кабаки,
 Где пляшут женщины с золочеными животами.
 Я не знаю,
 Я этих женщин не видел.
 Мне строгий свой танец танцевал торжественный город.
 От обелиска на Place de la Concorde до ангелов Saint-Sulpice.
 Тот же светлый искусный балет танцуют дома и люди,
 Автомобили и фонтаны, и даже памятники с нелепо
 вытянутыми вперед руками.
 Лувр — это кто-то вдохнул широким дыханием,

И вздох окаменел и стал огромным двором.

150

Есть неземная отрада в голубом сиянии Champs-Élysées,

И тени всех великих писателей Франции

*Явно наверху над Парижем заседают в небесной
академии наук и искусств.*

Я знаю: в двадцатом веке не полагается плакать,

Но как не плакать от восторга, когда в дымчатом свете

Воробей взлетает на руку белесой богини в саду,

Или когда над путаницей крыш и мостов, а потом

все ближе и ближе,

*И вдруг спокойно и четко, как во сне, встает мистический
шкаф Notre-Dame?*

Вадим ДЕЛОНЕ

(Москва, 1947 — Париж, 1983).

Поэт, правозащитник. Выступал в самиздате и публиковался на

*Западе (первая подборка стихов — в 1967 г., в журнале «Грани»). Был
участником группы, которая 25 августа 1968 года в Москве, на Красной
площади, выступила против советского вторжения в Чехословакию.*

Преследовался властями: сидел в тюрьме и лагере. Осенью 1975 года

эмигрировал из СССР, последние годы жизни провел во Франции. Вы-

ступал в парижских журналах «Эхо», «Континент»... Первый сборник

*«Стихи. 1965–1983» вышел посмертно в парижском издательстве La
Presse Libre, в 1984 г. Мемуары В. Делоне «Портреты в колючей раме»*

посмертно были удостоены литературной награды русской эмигра-

ции — Премии им. В. Даля (1984). Отдельной книгой опубликованы в

Великобритании (OPI, London, 1988). По-французски издана его проза

Pour cinq minutes de liberté (éd. Robert Laffont, Paris, 1985).

151

Из сборника «СТИХИ. 1965–1983»

* * *

Часы напоминают мне наручники,

Их каждый оборот мне вены рвет.

Со сколькими друзьями мы разлучены,

И сколько впереди разлуки ждет...

Париж, 1979 г.

Баллада памяти Владимира Высоцкого

Порвалась дней связующая нить.

Гамлет

Огни, парижские огни,

молись по Святцам!

Но дни, потерянные дни,

они мне снятся.

По европейским городам

мечусь под хмелем,

Но я живу не здесь, а там —

я в это верю.

Метель сибирская метет,

хрипит недели,

Какой там с родиной расчет —

мы дышим еле.

Кругом могилы без крестов —

одна поземка,

Как скрип, срывающий засов,

как дни в потемках.

Лишь ели стынута на ветру

да лижут лапы,

И никому не повернуть
 назад этапы.
 Под ветром таким крутись,
 как сможешь,
 Но позабуди и оглянись —
 душа под кожей.
 А сунут финку под ребро —
 конец страданиям.
 Давно в бега ушел Рембо —
 избрал скитанья.
 О чем-то с кем-то торговал
 в стране верблюдов
 152
 И много дней там промотал,
 поверив в чудо.
 Он замолчал, он оборвал,
 забросил песни,
 И я его не повстречал
 на Красной Пресне.
 А жаль, мне правда очень жаль —
 любитель шуток,
 Он разогнать бы смог печаль
 на пару суток.
 Нас время как-то не свело
 в аккордах лестниц,
 Пойдет душа моя на слом,
 как дом в предместье.
 Я уложусь в свою строку,
 как в доски гроба,
 И пусть венков не соберу —
 я не был снобом.
 Я по парижским кабакам
 в огнях угарных,
 Но нет Рембо, а значит, там —
 бездарность.
 Я в прошлом путаюсь своим,
 все сны — погоня,
 И для чего мы здесь живем —
 я смутно помню.
 Не смею словом покривить —
 такая малость,
 И дней связующая нить
 поистрепалась.
 Бредет душа по мутным снам
 с неловкой ленью,
 Играют Баха в Нотр-Дам
 по воскресеньям,
 Орган разносит гул токкат
 за грань столетий,
 Наотмашь бьет шальной закат
 по крышам плетью,
 А листья гаснут на ветру
 в дожде осеннем,
 А я ловлю их на лету —
 ищу спасенья...
 Пусть дни пропали — в снах своих
 я к ним прикован,
 И нет Высоцкого в живых —
 он зарифмован.

Париж, 30 июля 1980 г.

153

* * *

Тени синью набрякли,
Словно вены в запой...
Здесь кварталы, как грядки,
Как шитье с бахромой.
И фонарные блики
Поплавками в воде...
Может быть, Петр Великий,
Это снилось тебе?
Триумфальные арки
И безглавый костел...
Разлинованным парком
Не пойдешь на костер.
Все мы правды просили,
Я к возмездьям привык...
Я бреду от Бастилии
Прямоком к Республик.
Париж, 1980 г.

154

НАТАША ОУЭН

США, Гавайи

ИЗ ПРИБОЯ ВРЕМЕНИ

Этюды

Из серии «Гавайи»

Луна в саду

В ночном саду гуляла полная луна. Тонкий зеленоватый диск опускался на старую скамейку между двумя раскидистыми шефлерами, катился за карликовые деревца клубничной гуавы, крался между тремя кокосовыми пальмами-сестрицами.

Пальмы перебирали тонкими острыми пальчиками листьев, шептались, хихикали, щекотали серебряный лик, пугливо озирались, озорничали с редко доступной гостьей, радуясь неожиданной ночной забаве.

Хозяйка и долгожительница сада, старая древесная лягушка была одета в легкую серебряную шубку. Шубка смешно двигалась, мерцала диковинными чешуйками, создавая блистательную даму из грустной старой владелицы крошечных садовых болотцев. Лягушка задумчиво смотрела на глупых быстрых сверчков и неторопливо поднимала тяжелые веки навстречу загадочной гостье.

Вертявые кузнечики терялись, слепли от неожиданно яркого ночного света, метались в высокой траве и падали от изнеможения, высоко закидывая острые сухие коленца.

Бесстрастная ночная красавица лежала на траве, разливая светлый изумруд по склону поляны. Жизнь ее травяных обитателей настораживалась и замирала. Ленивые гусеницы смотрели серебряные сны своей молодости, крохотные жучки качались на тонких стеблях осоки, думая о вечном; забывающие об огороде слизняки выходили на край грядки, решив не пропустить ни одного мгновения чуда.

Карликовая огородная грядка кивала дорогой гостье султанами одинокого кустика подорожника, душистыми метелками розмарина.

155

Мелкий тайский базилик терял свою яркую дневную зелень и бледнел от волнения, отдавая ночи букет заморских запахов.

Только развесистое дерево манго жило своей независимой взрослой жизнью, не пуская лунную красоту под тяжелую сильную крону. Луна подбиралась к его густой тени, надеясь на скорую победу, и отступала, изумленная поражением.

С рассветом власть луны и вовсе слабела, серебро истончалось и таяло, бледная зелень опять набирала цвет, в саду начинался новый яркий день как победа над чарами ночного мира, охлаждающего все живое...

Обыкновенное чудо

Время налогов приходит внезапно, как тропический ливень.

У офиса бухгалтера, который вот уже 20 лет рассчитывает наши налоги, совсем крошечная парковка. Он делит ее с клубом караоке, химчисткой, мастерской по ремонту одежды, цветочным магазинчиком и корейской закусочной.

Начальником парковки который год служит пожилой рыжий мужик горячей ирландской крови. Он стоит у въезда на парковку, широко расставив ноги с набрякшими икрами цвета меди. Затянутые в ослепительно белые носки ступни ловко всунуты в рыжие пластиковые сандалии с лаконичным названием «кроки».

Свободных гостевых парковок сегодня нет. Глаза «ирландца» смотрят особенно зорко, щурясь из-под широких полей соломенной шляпы.

На легкую безрукавку цвета спелого абрикоса накинута синяя выгоревшая ветровка. День выдался ветреным и дождливым. Обгоревший на солнце нос залеплен розовым пластырем, по краям которого рехмотится тонкая, как папиросная бумага, кожа. Привратник всегда в хорошем настроении и готов поддержать любой, пусть даже пустяковый, разговор.

Его можно было бы пожалеть за низкую плату, каждодневную скуку, усталость в опухших к вечеру ногах, случайную грубость не нашедших парковки водителей, проливные дожди и нещадное солнце. Но жалости не дает зародиться одно неожиданное обстоятельство. На шляпе этого неказистого на вид регулировщика обычной городской парковки приколот букетик живых цветов.

Маленькие и нежные, они казались нашими апрельскими подснежниками в только что проснувшемся от зимы подмосковном лесу или крохотными колокольчиками на полянке под старой яблоней.

156

Вдруг ставший похожим на садовника, привратник улыбнулся и снял шляпу, чтобы дать мне почувствовать аромат этого милого сюрприза...

Кокотут

Попугай был в черном пальтишке с белым пушистым воротником стойкой. Повернутый ко мне глаз цвета полночной черноты неподвижно сидел в голубых кожаных складках окологлазья. Складки морщились, поворачивая глаз, набухали и разглаживались, но черное пятно оставалось безжизненным. Отсутствие зрачка пугало, заворачивало и притягивало.

Малышу только что исполнился год. Вместо праздничного торта ему подарили большой кусок мяса, желанного и редко доступного лакомства. Хозяин попугая, изящный негр в длинном коричневом пальто, с тростью, называл его Кокотутом.

Они вошли в деревянный, по-рождественски украшенный хвояй и красными бантами трамвай праздничного Сан-Франциско на излете серого дня. Начинал моросить дождь, он накрывал город туманом, съеживал высокие здания и расстилал по улицам холодные

зеркальные лужи.

Кокотут был заказан в Австралии. Хозяин ждал прилета малыша с курьером больше года. Он придумывал слова, которым научит смышленого нового приятеля; прикидывал, сколько времени будет австралийский приемши приживаться в его тесной маленькой квартирке. Кокотут оказался быстроучкой. Через полгода он уже «говорил» на пяти языках и стал гордостью и смыслом жизни отдавшего за него последние 12 тысяч сбережений усталого одинокого мужчины.

Птица сидела на плече хозяина и смотрела в окно. На скрежет трамвая она повернула голову и стала цепко спускаться по рукаву пальто, не теряя из виду картину трамвайной жизни.

Сидевшая рядом с негром девочка протянула руку, и доверчивая птица пересела на мягкий ворсистый рукав ее куртки. Черный лакированный клюв неожиданно раскрылся, из него показался такой же черный шершавый острый язык, ухвативший яркий пушистый помпон соседки.

Кокотут зябко ежился, его легкое вязаное пальтишко испуганно вздрагивало на белых крыльях.

Негр встал, опираясь на трость, и подставил свободную руку своему странному другу. Дверь трамвая открылась, и они ушли в туман. А были ли?..

157

Жизнь и смерть норвежского буфета

В крохотной долине Айна Хайна в Гонолулу жил да был крохотный торговый центр. Он был сердцем и душой поселившихся здесь не один десяток лет назад предприимчивых китайцев, тихих и аккуратных японцев с ухоженными двориками, гавайцев, уходящих по тропе, начинающейся прямо от дома, на охоту за дикими кабанчиками. Охота разрешается и сейчас, но по старым обычаям: с ножом или стрелами.

Беда началась с первого слуха, что центр купили новые владельцы из Гонконга. В один день слух стал правдой, разбившей тихие долинские сердца. Новые владельцы решили перестроить центр на современный лад. Никакие пикеты и гневно-просящие письма обитателей долины не сломали воли новых хозяев.

Пока шла борьба, центр продолжал плести узор своей неспешной гавайской жизни.

В цветочном собирали душистые леи из тубероз, в закускойной «У Джека» на завтрак жарили на гриле свежий улов и забивали яичницу с манго из пяти домашних яиц.

Старый мороженщик, снимавший много лет угол в небольшом продуктовом магазине, развозил после дневного сна мороженое по долине на своем весело раскрашенном фургоне. Для детей у него всегда водились свистульки, дешевые леденцы и легко надуваемые шарики. Он объезжал долину с музыкой сентиментальной парижской шарманки, был всегда приветлив, умел участливо выслушать засидевшихся дома стариков и рассказать последние гуляющие по долине новости.

В корейской забегаловке центра жарили самые вкусные в Гонолулу бульгоги, подаваемые с кимчой, которую уже много лет поставляла ко двору вышедшая на пенсию кореянка. Корейскую капусту, огурцы и редьку для этого обязательного блюда в корейской кухне ей привозил племянник, живущий через дорогу.

Был в старом центре и гимнастический зал, здесь молодая женская поросль долины укрепляла силу мышц и совершенствовала гибкость тела.

На почте народ подолгу задерживался, вел простые житейские разговоры певучими и мягкими гавайскими голосами. Ходили по долине неспешно, останавливались в соседних дворах, приносили друг другу саженцы, делились поспевшими фруктами, называли по именам подрастающих на глазах внуков и приветствовали дружески настроенных собак.

158

Особой любовью в старом центре пользовалась кофейня, помнившая еще первого владельца, норвежца Улофа. Предки его были моряками, ездили по свету и, приехав более ста лет назад на Гавайи, так и остались здесь. Улоф женился на местной хохотушке Уилани (в переводе с гавайского «сошедшая с небес»!) и прожил вместе с кофейней долгую и счастливую жизнь. С Норвегией кофейню связывали две вещи. Первая — суп из лосося, когда в кипящую подсоленную воду бросаешь мелко порезанный картофель, морковь, репчатый лук и лососевые хребты с кусочками филе. Как закипит, добавляешь сливки по вкусу, черный перец и укроп. Вторым норвежским чудом был старый пузатый буфет. Вот об этом буфете и наш сказ. Буфету давно шла вторая сотня лет. Сделан он был дедом Улофа из небольшой деревни, что на берегу норвежского фьорда. Старик Острем был краснодеревщиком и подарил вырезанный им буфет сыну, то бишь отцу Улофа, когда тот отправился с женой искать счастья на чужой стороне. Улоф деда знал по желтой фотографии в черной бумажной рамке, а буфет ему достался от отца, как часть нехитрого наследства.

Этот диковинный буфет был маленькой норвежской империей в простой гавайской кофейне. В вечерние закатные часы, когда свет особенно мягок, а тени стелятся по стенам кофейни загадочными лапастыми чудами, буфет становился похожим на древнюю крепость викингов, он казался выше и шире, захватывал всю стену и, казалось, заносил свою огромную ножицу, собираясь выйти на улицу.

С утра, когда в кофейне было много народу, буфет жил трудовой, напряженной жизнью. На его верхней полке стояли кофейные кружки с рисунками гавайских цветов: кремовой плюмерией, розовыми туберозами, ярким сочным гибискусом, горделивой птицей рая, чешуйчатым имбирем, величественной протеей и царственной орхидеей. Кружки быстро выбегали из шкафа и забегали вновь с новостями, заряженные особой, солнечной энергией жителей долины.

Под ними, на второй широкой полке, жили чудесные гавайские штучки. Шершавые от времени рыбацкие стеклянные шары, выловленные заведомо на диких пляжах; изящная юкелеле со сладким, щемящим голосом в умелых руках; куколки Барби, одетые в национальные гавайские платья «муму»; выброшенные на берег акулы челюсти; деревянные от старых лодок; полустершиеся поплавки и всякие другие диковинные разности из пестрой гавайской жизни. Обе полки были закрыты ребристым голубоватым стеклом. В середине дня, когда в кофейню заходило яркое тропическое солнце, они оживали. Казалось, что рыбацкие шары начинали катиться, го-

159

товые выпасть на пол кофейни, девочки Барби кружились в ленивой полуденной «хуле», цветы на кружках начинали отдавать ароматы, юкелеле заводила певучую гавайскую мелодию. Все оживало и наполняло кофейню необычной, яркой и трепетной жизнью.

Новая, перестроенная жизнь тем временем наступала на пятки старого гавайского уюта, душевности и сложившегося годами уклада долины. В один из солнечных ленивых дней буфет сквозь легкую

дрему слышал разговор молодого владельца кофейни с сестрой, которая вместе с ним держала бизнес. Он сетовал на то, что не знал, куда девать «эту норвежскую рухлядь». Буфет испуганно закрыл глаза, чтобы не выдать свою острую внезапную боль. Ему казалось, что кофейня бы не состоялась без его громоздкого деревянного тела, без скрипа открываемых двери, резных цветов, запаха старого дуба, того особого интима, который мог создать только он, неся в себя память о стольких счастливых людях и часах в этой крохотной кофейне. Кофейню сломали быстро. На оставшемся пустыре каким-то странным образом стоял один буфет. Он знал о своих оставшихся коротких часах и уговаривал жителей своего большого деревянного нутра покинуть его чрево. Никто не уходил.

Ранним утром над буфетом навис ковш небольшого бульдозера. Бульдозерист был веселым молодым парнем, жил в этой долине и помнил буфет с детства, когда они мальчишками бегали в кофейню за коржиками. Он заносил ковш с раненым сердцем, стараясь не смотреть, как будет умирать буфет.

Старый норвежец начал как-то странно приседать, плющиться, а потом загудел, как уходящий в последний рейс пароход, и рассыпался. С полок скатились раздавленные шары, смятая юкеле, исковерканные куклы и раскрошенные кружки с оторванными лепестками цветов.

Парень вышел из кабины бульдозера и подобрал кусок деревянного цветка, украшавшего буфетную дверцу.

Из серии «Ницца»

Закат

С одной стороны море казалось огромным, безбрежным лоскутом темно-синего шелка, брошенного наскоро, так что легкие волны продолжали бежать к невидимому горизонту. Постепенно шелк светлел, становился легким, как газовая дымка, и переходил в то, что должно было быть небом.

160

С солнечной стороны темная гладь воды светлела, наливаясь веселым серебром, которое плавилось в лучах уходящего солнца, искрилось и поднималось ввысь, превращаясь в пушистость розовых облаков.

Маленькая, юркая рыбацкая лодка ловко резала шелк, скользя по волнам, втягивалась невидимым горизонтом и казалась легким фантомом, поднимающимся высоко в небо.

В заливе Ангелов уходил в прошлое еще один беспечный день курортной жизни. Осенняя тусклость уже заливала набережную, хватывая фигурки людей, неспешно завершающих вечерний моцион.

Голубая, прозрачная днем морская вода темнела и уходила в ночь, забирая с собой память о быстрых руках пловцов, решившихся скользнуть в ее осеннюю прохладу.

В домах на набережной открывали оконные ставни. Их распахнутые глаза ловили последние холодные лучи, вбирая в себя остатки догорающего дня.

В маленьких кафе зажигались розовые фонари, любители аперитива со странным названием «томат» и напоминающего по вкусу микстуру от кашля, зябко кутались в шали, пытаясь сохранить скудное осеннее тепло.

На большой плоской сковороде дымилась сокка, дышала пузырьками своего круглого желтого тела и румянилась по бокам нежной хрустящей корочкой. Готовую, ее резали острым тонким ножом и сворачивали в аппетитные кулечки. Обжигаящая нежная мякоть

маиса запивалась пивом, оставляя в памяти неповторимые моменты нехитрого вечернего часа, очарование осенней прохлады и счастливые глаза девушки твоей мечты...

Новый день

Когда утром распахнули небо, оно оказалось светло-голубым. Вдоль линии горизонта, как будто выдавленные из гигантского тюбика, тянулись тонкие полоски облаков.

Морская гладь казалась залитым с вечера черничным киселем, охваченным общей легкой дрожью. Рыбацкая лодка резала его на невероятных размеров куски, обнажая мягкое и податливое чрево. Потом, словно нарисованные быстрой рукой, на полотне неба появились первые чайки. Они ежились от утренней свежести и выталкивали из тела сон резкими короткими вскриками.

161

Черничный кисель местами начинал светлеть, его неповоротливая тяжелая масса плавилась от прикосновения к первому, пока еще косому, солнечному лучу.

Со стороны гор прилетел первый бриз. Он быстро набирал силу и становился ветром, морщинившим морское безбрежье в едва заметную рябь. Где-то на глубине зарождалась робкая волна. Она медленно поднимала из синих недр свое пока еще неловкое тело, постепенно становясь верткой и сильной. Достигнув поверхности, она пускала вперед своих еще неокрепших дочерей-подростков, уже уверенная в своей силе и власти.

Крохотные пенные волнишки, похожие на озорных пацанов, шалая неслись к берегу, рассыпались на гейзеры брызг, распластывались мягкими пенными языками по холодной утренней глади и только некоторые из них добежали до берега пушистой пеной, умирая там изящной и быстрой смертью.

К тому времени солнце уже достало из морского безбрежья новый яркий день и несло его на своих длинных светящихся руках в пока еще тихий с ночи мир...

162

Из серии «Париж»

Осенний день

Осенняя кисть с утра была веселой. Она набрызгала по небу голубым, добавила серой легкой паутины, бросила на фасады косою луч холодного солнца и пошла гулять по паркам, аллеям, набережным, площадям и дворам, выплескивая где золото, где медь, а где свинец.

В Тюильри старые, умные пони терпеливо ждали шумных и непослушных наездников. Грустная карусель с поблекшими красками крутилась под вечную музыку французских шарманок.

В крохотной брассери под опавшими каштанами подавали шампанское. Бледно-зеленое фисташковое мороженое оплывало в тюльпанах розеток. Элегантный француз ворошил тростью увядающую медь осенней листвы.

Заезжий трубач пел о последней встрече уже остывшей, как поздняя осень, любви. Звук легко скользил меж голых деревьев, поднимался над садом и летел на простор площади Согласия, распластываясь меж фонтанов и собираясь вновь, чтобы выплеснуться на широкую променаду Елисейских полей.

Запив устрицы легким белым вином, осень принялась дорисовывать ноябрьский день отяжелевшей от трапезы кистью.

Тускнел некогда золотистый утренний луч, элегантные фасады Парижа поплыли в голубой дымке надвигающихся сумерек, над Сеной собирался мучнистый туман, пока еще низкий и редкий, но уже

готовый слизать с набережных фигурки потерявшихся влюбленных.
 На Капуцинах зажглись розовые фонари. В Мадлен настраивали
 орган, веселые лица девушек-ангелов, кружившихся на месте алтаря,
 приветливо улыбались миру, неся покой и веру заблудшим.
 Привратник Пер-Лашез закрывал кованые ворота. На надгробии
 Эдит Пиаф отдавал последнюю свежесть тяжелый букет желтых роз.
 Затянутый в белый крахмал передника официант не спеша зажигал
 свечи на столиках близлежащего ресторана, помнящего скорбь тра-
 урных процессов...

Кисть устало нанесла на небо темную синеву и зажгла звезду.
 В «Мулен Руж» начинался первый канкан. В дешевом ресторан-
 чике напротив хрипела труба, не попадая в унисон с расстроенным
 роялем. К утке подали терпкое бордо. В густом ванильном соусе
 плыл взбитый белок диковинного десерта. На примыкающих улицах
 красные фонари вечной любви звали любителей притворной ласки.

163

В Сакре-Кер спали патриотическим сном бестрепетные сердца
 французских гвардейцев, веривших в неуязвимую славу Франции.
 С вершины церковного холма был виден мерцающий огнями
 Париж, трепетный и манящий...

164

ИГОРЬ ШПЫНОВ,

Париж

ИЗ ПОЭТИЧЕСКОЙ ТЕТРАДИ

Блудный сын

Неблагодарных время не приди,
 Незрячих прошлое не повторяйся,
 Вновь язв язычества не возроди,
 Ты — блудный сын, у ног, и — кайся!
 А в грешную Москву
 То Воланды, то «Роллинги».
 Гроза, что Страшный суд,
 Карать пришла пора?
 Смотрю вокруг меня —
 То денег нет, то воли нет...
 А зависть на Руси страшнее топора!
 Двадцатый век: Победа! Снова в долг —
 Жизнь человечества в рассрочку и на выбор:
 В век двадцать первый душу — под залог?
 Придет раскаяние или бездушный «киборг»?
 На грешную Москву
 Огнем все чаще кара льет,
 На Страшный суд свалить
 Хотят. Пришла пора?
 Все то же вокруг меня —
 То денег нет, то воли нет...
 Ох, зависть на Руси страшнее топора!

165

Памяти Владимира Высоцкого

Когда со сцены или в переходе
 Звучит струна, и в голосе надрыв,
 Я чувствую, другая жизнь проходит:
 Там где-то пропасть, где-то и прорыв.
 Вдруг понял я, что путь мой был отмечен,
 Хоть жизнь, порой, как фантик на весу...
 И осознал, что мне нельзя без песен,

Ведь, может быть, кого-нибудь спасу!
 И я пою в кругах, где все прилично,
 И там, где вольно дышит лицемер,
 Где ватник поменял свое обличье
 На фрак и ставит сам себя в пример.
 Я понял: там для песни места нету,
 Нет места для морали, для души.
 Кому светить, коль там живут без света,
 Кого позвать в такой глухой глуши!
 Как не понять, везде игра без правил.
 Друг друга кто ногой, кто кирпичом!
 Кто скажет «да», поверьте, он слукавил,
 Кто скажет «нет», — не будет ни при чем.
 Мой путь — он не карьерою отмечен,
 Через года свой крест я понесу,
 И я пишу, и не могу без песен,
 Быть может, хоть кого-нибудь спасу!
 2004 г.

166

Отсчет времени

Из «Вятского цикла» 1988–1991 гг.
 Отсчет времени не верен, все не так!
 А у вас, ребята, только — суета.
 Не подумайте дурного, не горжусь,
 На моем пути две воли, одна — Русь.
 Начинайте счет хоть от печки, так и быть,
 Никого вам не простить и не забыть,
 Начинайте ваши счета хоть с собой,
 Обязательно зачтется за судьбой.
 Я за этот счет так просто не берусь:
 И в слезах и безраздолье моя Русь.
 А в том времени не помню ничего,
 Чтоб без дыма, крови, страха, да, его!
 Я по сердцу счет сложу, как смогу.
 Без тебя день первый ляжет, как в снегу.
 День второй прошел короткий, горька ночь,
 И на третий мне опять не помочь.
 Натекает вокруг вода, капель стон...
 И чем дальше, тем страшней этот сон —
 Жить и верить ... Я во всем разберусь
 А успею, так успею... Моя Русь!

Посвящение художницам

(Париж, март 2001 года, выставка «Маски» Наташи Белоус-Зейту-
 нян и ее дочери Кристины, отец которой Робер изображен на одной
 из картин)

Талант скрывается порой
 Под маской скромности не ложной.
 Закон у жизни непреложный —
 Отмечен Божью он рукой.
 Но обнажается душа
 Без маски — только кисть и вечность!
 А в бесконечности — сердечность:
 Robert, Christine et Natacha!

167

ТАТЬЯНА ПОТЕМКИНА,

Тюмень

ДЕНЬ ВЗЯТИЯ ПАРИЖА

Фрагменты из повести

Мы прилетели в Париж, назло суевериям, 13 июля, а 14-го Франция отмечала День взятия Бастилии.

В Париже были развешаны флаги, играли военные оркестры, по улицам проезжали колонны мотоциклистов-полицейских, колонны военной техники. Вечером возле Эйфелевой башни ожидался фейерверк.

Утром наша группа должна была собраться на ступеньках Оперы, чтобы идти на первую (пешеходную) экскурсию по Парижу. В ожидании соотечественников я ходила, разглядывая красивейшее здание музыкальной академии. Вдруг ко мне подошел мужчина, по виду — художник, в руках он держал кисточки и краски:

— Хотите принять участие в рисовании картины?

— Какой картины? — заинтересованно спросила я. Разумеется, мы разговаривали на французском языке.

— Мы рисуем одну общую картину в честь сегодняшнего праздника. Вот видите, три цвета: красный, белый, синий. Вы можете взять кисточки и нарисовать свой фрагмент. А через несколько часов придете и увидите, что получилось.

Еще бы я не хотела! Чуть ли не высунув от усердия язык, принялась за дело, чрезвычайно гордясь собою. Итак, я во французской столице участвую в создании картины в день национального праздника. С другой стороны, я словно вписываю себя в картину Парижа. Ну вот наша группа и собралась. Мы проехали пару остановок на метро и пошли с экскурсоводом — с Вероникой — смотреть достопримечательности Парижа.

Положа руку на сердце, не люблю такие экскурсии. Только засмотришься на понравившийся милый домик или памятник, а группа уже убежала дальше. Только сделаешь пару снимков — приходится догонять своих.

— Вон там, — показывает через улицу рукой Вероника, — фонтан Сфинксов.

168

Какой фонтан — его отсюда даже видно плохо! Я бы походила вокруг него, полюбовалась игрой воды и света, сфотографировала... Так группа опять умчалась.

...Через час такой беготни мы вышли к Собору Парижской Богоматери — Нотр-Дам де Пари. Этого я, конечно, очень ждала. Но... на улице стояла жара — за тридцать градусов! А мы остановились прямо на площади, под палящими лучами солнца. Вероника принялась рассказывать о том, как строился собор.

Но, честно говоря, мне не слушалось... Я пошла смотреть на Нотр-Дам...

Да простят меня архитекторы всего мира, с первого и даже со второго взгляда собор показался мне каким-то... незавершенным. Я стояла прямо перед ним и не находила готической устремленности ввысь. Вы можете сами посмотреть. Или я просто на солнце перегрелась? Только потом, позже, вернувшись вновь к Нотр-Дам, я всмотрелась в него и... полюбила — уже навсегда.

...Наша экскурсия завершилась в Люксембургском саду.

— Это сад интеллектуалов! — отчего-то сказала Вероника.

Он мне очень понравился, причем сразу. Со статуями, тонкими ароматами цветов, блеском воды и роскошным дворцом. Мы немного посидели в кафе и поехали обратно к Опера.

А там! На ее ступенях расположился военный оркестр. Напротив — большие палатки, возле них — бронетранспортеры. На крышах

бронетранспортеров стояли гвардейцы (или, не знаю, как они называются...). — Молодые мужчины, с загорелыми волевыми лицами, высокие, мужественные, в военной форме, с орденами и медалями. Вероятно, служили в каких-то своих «горячих точках»...

Кое-кто из туристов вовсю фотографировался с гвардейцами.

И мне отчаянно захотелось постоять рядом с такими бравыми мужчинами! Кроме этого безудержного желания и возникшей откуда-то вдруг бесшабашности в голове ясно сложилась фраза:

— Если я сейчас и здесь не сфотографируюсь на крыше бронетранспортера, я себе этого никогда не прощу!

Отдала свой фотоаппарат супружеской паре. Это были французы, они очень мило согласились сделать несколько снимков.

Подхваченная неведомой силой, я готова была взлететь на бронетранспортер! Но этого не потребовалось. Мужчины в военной форме подали мне руки, и я через люк попала на крышу... Встала между двумя гвардейцами, каждый из которых был на голову выше меня, заулыбалась. Вот он, запечатленный в сознании и на фотографии миг счастья. Один из моментов счастья, но какой!

169

Я твоя, Париж, теперь твоя

...Вечером того же дня, 14 июля, возле Эйфелевой башни был салют. Но такую феерию описать невозможно.

Уже совсем-совсем поздним вечером я оказалась у Лувра. Это была наша первая с ним встреча. Лувр — величественный, грандиозный — просто поразил меня. Огромное здание дышало спокойным достоинством, и оно чувствовалось буквально в каждой частице пространства. Вот только эти стеклянные пирамиды, большая и маленькие, взятые в полукольцо Лувра, — поначалу мне не удавалось «вписать» их в атмосферу музея-дворца.

Долго и тихо сидела я на каменной скамейке возле Лувра. Замерло время, замерли мысли. Потом я вспомнила, что надо возвращаться в отель, но... дороги я не знала. К тому же очень устали ноги. Встала и пошла потихонечку, ничуть не заботясь о пути. Автобусы не ходили, потому что праздник. Где тут станция метро — не знала. Поймать такси невозможно — машину можно взять только на специальной стоянке.

Очень кстати вспомнился Высоцкий: «Там все равно автобусы не ходят, метро закрыто, в такси не содют!»

Так я шла и готова была идти куда-то всю ночь. В эти минуты я уже СМОГЛА сказать своей мечте приготовленные слова. И я произнесла вслух, громко, на французском языке: «Bonjour, Paris, je suis arrivé́e, je suis là!» — (Здравствуй, Париж! Я приехала. Я здесь!)

Неожиданно впереди возникло подсвеченное здание Гранд Опера. Это было очень отрадно — теперь я знала дорогу. Не помню, в какое время пришла в отель. Окна у меня в номере были открыты. По улице внизу шла группа молодых людей. Выглянула: белые, афроамериканцы... Они были веселы и не совсем трезвы, но пели «Марсельезу»:

Allons, enfants de la Patrie,
Le jour de gloire est arrivé!
(Вперед, сыны Отчизны,
День славы настал!).

...Закончился второй день в Париже. Наступила ночь, немного душная, чуть таинственная.

В моей душе уже не было восторга, только тишина и умиротворение. Мне стало понятно, что во французской столице я... у себя

дома. Вот так, ни больше, ни меньше.

170

Села к столу и сочинила строки... Точнее, стихи сложились сами.

Ах, Париж, к тебе всегда стремилась,

Мой далекий, близкий мой Париж!

В этом что-то странное таилось,

Но такое разве объяснишь?

Я язык французский изучала

Лексику твердила по слогам,

Как молитву, строго повторяла:

Лувр, Сакре-Кер и Нотр-Дам...

Но сошлись однажды все дороги,

Многолетняя утихла боль:

С трепетом, надеждой и тревогой

Я шагнула с трапа в Шарль де Голль.

Город мой! Я здесь. И умолкаю,

Ни мечты, ни слезы не тая.

Что со мною станется — не знаю.

Я твоя, Париж, теперь — твоя.

«Она смеется над нами?»

...Открывая для себя Лувр, мы открываем... сокровищницы своей души, те «запасники», о которых и не подозревали.

Сколько времени нужно, чтобы осмотреть коллекции Лувра?

Дэн Браун в своем романе «Код да Винчи» написал: для осмотра 65 тысяч 300 шедевров Лувра понадобится около пяти недель. Как бы остаться в Париже на такой срок? И кто бы за это заплатил?..

Исходя из реалий нашей туристической поездки, в одно прекрасное утро мы решили пойти в Лувр. Мы — это я и супружеская пара из Свердловска, Маша и Тимур.

День обещал быть жарким. Когда мы пришли к Лувру, солнце уже палило вовсю. Встали в очередь на досмотр сумок, и минут через пятнадцать уже входили в стеклянную пирамиду («детище» Франсуа Миттерана), чтобы из нее попасть в здания Лувра.

Интересная деталь: экскурсия по Лувру стоит 60 евро. Но проще пойти туда самостоятельно, заплатив всего восемь с половиной евро. На первом этаже лежат в большом количестве путеводители по Лувру — это бесплатно — на разных языках (немецком, английском, французском, русском, японском...). Там все показано и рассказа-

171

но — заблудиться весьма трудно. Берешь в руки путеводитель как карту — и вперед!

Некоторые из людей, живущих в Париже или часто там бывающих, снисходительно говорят, что туристы всегда смотрят в Лувре только три произведения: «Джоконду» Леонардо да Винчи, Нику Самофракийскую, Венеру Милосскую...

Во-первых, приобщиться к мировым шедеврам — совсем неплохо. А во-вторых, надо отдать должное туристам — они выбирают то, что им близко и интересно. И ходят по Лувру долго, вдумчиво, порой до полного изнеможения... Спускаются в кафе, быстро что-нибудь съедают и снова устремляются на поиски прекрасного, того, что зовется в сердце вечным стремлением к Совершенству... Впрочем, нам тоже пора «приобщиться» — и мы уже видим издали крылатую богиню Победы.

Предлагаю сфотографировать своих спутников на фоне Ники.

Но молодой художник из Свердловска Тимур довольно строго объясняет мне, что... Ника жила и будет жить в веках, а мы здесь только гости, на несколько минут. Поэтому совсем негоже запечатлевать

себя рядом с богиней Победы.

Если честно, от таких слов я начинаю гордиться своими соотечественниками. А другие туристы, по-моему, из Китая, усердно фотографируются возле шедевров, почему-то стараясь принять экстравагантную позу, постоять на одной ноге, например, или скорчить какую-нибудь рожицу.

После осмотра нескольких коллекций мы добираемся до зала, где находится жемчужина Лувра — «Мона Лиза». Входим в зал, ищем глазами ту, что будоражит умы и сердца... И слышим возглас кого-то из русских туристов:

— Какая она маленькая!

Действительно, находящиеся в этом же зале полотна впечатляюще большие — почти от пола до потолка! А «Джоконда»... Такое впечатление, что картина немного теряется в зале. И только плотное полукольцо туристов перед ней говорит об интересе всех, устремленном к одной.

Человек сорок или пятьдесят стоят перед картиной, защищенной пуленепробиваемым стеклом. И почти все фотографируют «Мону Лизу». Вспышки, вспышки. Чтобы подойти поближе, приходится ждать, когда кто-то освободит место. Я стою за высоким молодым человеком в черной футболке и упираюсь глазами в надпись на его спине: «америкэн стиль». Руки молодого человека, от плеч до кистей, представляют собой сплошную цветную татуировку. Кроме листиков и цветочков, вижу улыбающиеся женские мордашки. Вот, наконец,

172

место слева освобождается, и моему взору предстает Джоконда. Проходит одна минута, пять, десять. Моя спутница говорит рядом со мной:

— Да она смеется над нами!

А, правда, отчего бы ей не улыбаться? — Мы стоим здесь толпой, и каждый для себя пытается понять: зачем пришел? Что нового хотел открыть в себе при взгляде на оригинал виденной сотни раз картины?

...Потом осматриваем другие залы, и только когда устаем от меняющихся экспонатов, покидаем Лувр. На улице жара, но так славно сидеть на каменной скамейке и пить воду прямо из пластиковой бутылки.

В Лувр надо возвращаться снова и снова. И мы обязательно вернемся.

Нотр-Дам...

...Вечером я пошла в интернет-кафе. Во-первых, посмотреть свою почту, а во-вторых... Мне не давал покоя Нотр-Дам. Что с моим восприятием? Почему главный фасад собора показался мне... незавершенным?

Я задала в поиске «Собор Парижской Богоматери» и начала читать. — О том, как в двенадцатом веке началось его сооружение, как собор строился в течение аж 170 лет.

В средние века городской храм был не только местом службы и молитвы, но и убежищем для населения на случай стихийного бедствия или нападения неприятеля. Итак, в XII веке храм больше походил на башню-крепость, где доминировали мощные глухие стены, а узкие окна напоминали амбразуры. Но, тем не менее, Нотр-Дам был и «каменной проповедью», с которой Церковь обращалась к людям, напоминая им о бренности жизни.

Нашла я, конечно, и фрагменты знаменитого романа Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери», который молодежь знает теперь разве что по мюзиклу.

А вот еще одна статья про собор. Пробегаю ее глазами, я буквально выхватила такие строки: «Главный фасад Нотр-Дам — не совсем готический: предусмотренные проектом островерхие шпильки на

верхушках двух башен так и не были построены, чтобы не нарушить достигнутой гармонии». Честно говоря, когда прочитала эти фразы, у меня отлегло от сердца: оказывается, были в проекте ипили. Были! Не подвела интуиция. А почему мне это важно?! Потому что, как ни странно, Собор Парижской Богоматери с первых встреч стал притягательно-близким. Даже... каким-то родным.

173

Святое сердце

Мне, как я говорила, повезло: моя гостиница была расположена совсем близко от Монмартра, и, преодолев подъем вверх по узким улочкам, я могла минут через 10–15 наслаждаться панорамой Парижа. Монмартр — это целый район, где находится квартал художников, где есть десятки кафе, ресторанчиков и сувенирных лавок. И, конечно нельзя не побывать в церкви Сакре-Кер (Святое Сердце) — она является одним из символов Парижа.

Однажды поздно вечером я решила зайти в Сакре-Кер. Шла вечерняя месса. Священник был на удивление молодым и говорил тихим голосом. Поначалу от волнения мне показалось, что слова понять почти невозможно. Я присела на скамью и замерла. И тогда каждое слово зазвучало явственно и четко. Это была подготовка к причастию. Впервые я услышала на французском языке слова:

— Сие есть тело Мое... Сие есть кровь Моя Нового Завета, за вас и за многих проливаемая во оставление грехов!

Потом прихожане стали хором читать «Отче наш». Музыка французского языка и новое для меня звучание общей молитвы.

Вроде бы мне, как православной, негоже находиться на католической мессе. Но по какой-то дерзости своей я была против разделения. Одна вера «правильная», другая «неправильная», — разве можно судить?

Не хочу! ...Я встала и подошла к стене, на которой крупными буквами была написана молитва. Мне запомнилась такая фраза:

— Господи! Я не могу все время находиться в Твоем храме. Но Твой Свет да будет всегда со мной!

Вышла из базилики Сакре-Кер, унося с собой настроение общей молитвы, давно известной мне на русском языке, где каждое слово, произнесенное по-французски, словно подсвечивалось изнутри.

Черeda открытий продолжалась.

Монмартр, 19 июля

Я еще не побывала в квартале художников — иду туда. Моему взору предстает целый мир — особенный, загадочный и, разумеется, богемный.

Здесь художники выставляют свои картины, здесь они рисуют, здесь они наблюдают жизнь. В свой первый «обход» я рассматриваю в основном работы и «зрителей» — то есть туристов. А во второй обход

174

квартала рассматриваю уже самих художников — как они сидят, как общаются с публикой, как творят и... как беседуют с теми, кто хочет быть нарисованным.

Отсняла одну пленку, вторую. Ну вот, теперь я готова стать «заказчиком» — мне тоже хочется... быть запечатленной. Подхожу к одному художнику — вернее, он приглашает меня. Говорит, какой он меня видит, как нарисует. Трудно объяснить, почему, но доверия это общение не вызывает. Я вежливо прощаюсь (хорошо все-таки, что я говорю на французском) и иду наблюдать за работой художницы. Я «присмотрела» ее давненько. Это смуглая стройная женщина с выразительными глазами и спокойной приятной улыбкой. Ее зовут

Линда, она художник в третьем поколении. Мы договариваемся о цене, я сажусь на стул и на сорок минут становлюсь моделью.

— Какие цвета вы предпочитаете? — спрашивает моя волшебница.

— Это на ваше усмотрение! — отвечаю я.

Она начинает работу. Конечно, я не могу видеть, что у нее получается, зато слежу за реакцией туристов. Они, останавливаясь, переводят взгляд с листа ватмана на меня и обратно. Кто-то делает страшные глаза, кто-то улыбается, а один мужчина поднимает вверх большой палец и всячески сигнализирует мне, что получается классно. Я смеюсь и немного волнуюсь.

...Но вот уже Линда, всматриваясь в мое лицо, делает последние штрихи и показывает мне портрет в шоколадно-коричневых и нежных сиренево-розовых тонах. Мои любимые цвета! Но как она угадала?

— Неужели это я? — говорю с улыбкой. — Это просто идеальная женщина, к тому же француженка.

— Когда художник кого-то рисует, — объясняет Линда, — он всегда ведет диалог с героем. С помощью портрета вы можете найти, увидеть в себе самой качества и черты, на которые вы не обращаете внимание. Я открыла в вас то, о чем вы сами, может быть, не подозреваете.

Она пишет внизу на листе: Монмартр, 19 июля, и ставит свою роспись. ...Вот так я и родилась заново в Париже, француженкой, и меня зарегистрировали 19 июля.

«Я твой до девяти вечера!»

В этот день у меня была назначена вторая встреча с Алексеем, с тем мужчиной, который живет в Париже, и с которым я познакомилась по Интернету еще до своей поездки во французскую столицу.

175

А до обеда проходила экскурсия, после которой супруги Евгений и Лена из далекого северного города попросили меня быть переводчиком в магазине парфюмерии. Из-за этого я прибежала в отель, даже не пообедав. На улице стояла жара, полежать бы полчаса. Но какой там отдых — успела только принять душ, переодеться.

Мы с Алешей встретились на станции метро «Сан-Жорес».

— Я твой до девяти вечера! — сказал мне Алексей. Вздрогнула: он — мой? А-а, это у него присказка такая.

Решили поехать к Нотр-Дам. — Вот прямо других мест в Париже нет.

Странно, но мысли зайти внутрь собора Парижской Богоматери у меня не возникло. Мы постояли у главного фасада, потом пошли смотреть на собор с другой стороны Сены. Так интересно: Нотр-Дам можно разглядывать долго-долго. Он видится огромным и легким, многомерным и изящным. Я открывала для себя собор постепенно, раз за разом. И в этот день, и после мне приходило на ум немного странное сравнение: точно также мы познаем... любимого человека, его глубину, красоту, неповторимость. Чем больше всматриваешься, тем больше открываешь.

Потом мы с Алексеем решили поехать на кораблике по Сене.

...Книгу «Заир» Пауло Коэльо я прочла до своей поездки в столицу Франции.

«Мы какое-то время смотрели на проплывающие по Сене корабли — их прожектора слепили нам глаза, — написал Коэльо. —

«Видите, что делают туристы? — сказал я. — Они рассматривают то, что освещают прожекторы. Вернутся домой — скажут, что повидали Париж. Завтра они должны посмотреть «Мону Лизу» — скажут, что

побывали в Лувре. Они не знают Парижа и они не были в Лувре — они прокатились на парходике по Сене и посмотрели одну картину — одну-единственную».

Легкая снисходительность автора нисколько не повредила мне.

Я открывала свой Париж и знала, что череда открытий будет длиться и длиться. Она не закончится этой прогулкой по Сене, нынешним пребыванием во французской столице.

Ажурная красавица

Эйфелеву башню я видела не раз, не два и не пять. Она присутствует везде: сама по себе, как объект, который можно наблюдать издалека с разных точек Парижа. Как предмет изображения на доброй

половине сувениров (начиная от футболок и галстуков, заканчивая авторучками и ножами). Ее можно видеть и на огромных рекламных щитах прямо на улицах города.

Символ Парижа? Конечно, да! Когдаходишь к Эйфелевой башне, она словно наплывает на тебя и кажется огромной, а ты совсем малюсенький возле ее «ног» — опор. Тогда ей действительно очень подходит слово «башня». Но порой она кажется маленькой, ажурной, парящей над городом...

Мы были возле Эйфелевой башни ясным днем и поздним вечером. Вот про вечер-то и хочется рассказать подробнее. Мои приятели из Свердловска пригласили меня на вечернюю прогулку. Мы катались на кораблике по Сене, а потом пошли на Марсово поле. Было уже совсем темно, таинственно и немногочисленно. Мы с Машей достали из сумки покрывало, расстелили его на траве. Принесли с собой вино, сыр, всякие закуски, стаканчики, салфетки. Все это уютно, по-домашнему разложили на покрывале. И начался у нас поздний пикник. Сидели, беседовали, любовались подсветкой Эйфелевой башни. Молодой человек недалеко от нас разговаривал... со звездами. Время от времени из полутьмы возникали арабы — продавцы вина. — Как говорится, все для «клиентов». Иногда появлялись негры-полиглоты и на русском (!) языке предлагали нам купить сувениры. Закинув голову, Маша вглядывалась в Эйфелеву башню.

— Любуешься? — спросил Тимур.

— Конечно, она же красавица.

— И символ Парижа, да? — улыбнулась я.

— А Лувр что, не символ? — спросил Тимур. — А Монмартр?

— Тогда еще Триумфальная арка, Мулен-Руж, — продолжила Маша. — И много-много всего.

— ...и Нотр-Дам, — сказала я.

Закончив свой ужин, мы отправились гулять по вечернему Парижу, который прекрасно объединил все свои «символы», все наши открытия. Пошел дождь — он был теплый, радостный, освежающий город после дневной жары.

Два лика святых

Потом мои друзья пошли в отель, а я, разумеется, «оказалась» у Собора Парижской Богоматери. Там, почти как всегда, былолюдно, но то ли наступающая ночь, то ли магия Нотр-Дама приглушали звуки. Я села на каменную тумбочку, еще теплую от дневной жары, и про-

сто смотрела на собор. Смотрела и размышляла... О чем? О любви, земной и небесной. Можно ли их объединить? Надо ли разделять? Иногда в мир приходят шедевры, причем сам автор, по скромности или по каким-то другим причинам, не осознает, что создал нечто уникальное. Мой друг Павел Белоглазов, человек необыкновенной

глубины и мудрости, написал стихотворение...
 Мужчина и женщина — две ипостаси,
 Два лика святых на иконе любви...
 О, руки, сплетенные в вечном экстазе!
 О, губы, познавшие тайну двоих!
 Бушуют пожары, сменяются власти,
 Хохочут (мечи на плечо!) палачи...
 Нетленными в мире останутся страсти,
 Свиданья, измены и шепот в ночи!
 Мы живы, с надеждой роднимся, покуда
 По пальцам струится знакомая дрожь...
 Пускай же беснуется новый иуда,
 И сплетни ползут современных святош!
 Румяному яблоку скучно на кроне,
 Срываясь, летит оно к нашим ногам...
 Смотрите, смотрите, стоят на балконе
 Библейская Ева, библейский Адам!
 И славит их вечно романс гитариста,
 Поэты им дарят созвездья стихов...
 Да здоровствует грех, что таит материнство,
 И в муках, и в счастье рождает любовь!
 Так было. Так будет. Удел наш прекрасен,
 Коль сердце не стынет в горячей крови...
 Мужчина и Женщина — две ипостаси,
 Два лика святых на иконе любви!
 Объяснять стихи — дело неблагодарное, ну да ладно...
 То, что написал Павел, человек с именем первоверховного апостола, — творение, пришедшее свыше. И коль скоро Небу было угодно дать нам знания, может быть, пора понять, что любовь Божественна, тем более та, которая дает миру ребенка, нового человека.
 Да здоровствует грех, что таит материнство! И... стало быть... это не грех?

178

Самое же главное — отсутствие спора о главенстве.
 Мужское и женское начало. Их сила — в сочетании. Мужчина находит свое «я», соединившись с Женщиной. Женщина познает себя, раскрывается благодаря Мужчине.
 Им не нужно бороться. Каждый из них обретает себя в другом. Только тогда и существует ГАРМОНИЯ.
 ...Так размышляла я, сидя глубокой ночью прямо напротив Собора Парижской Богоматери. И тут мне в голову пришла невероятно дерзкая мысль. Скорее, это было ощущение, которое воплотилось в слова.
 Глядя на Нотр-Дам, я почувствовала, что две его башни — это... две ипостаси, на которых держится мир.
 Мужское и женское начало. Равновеликие силы. Мощные и красивые. В полной мере они проявляют себя только в соединении. Две башни являют собой основу. Из них храм вырастает потом, как молитва, устремленная ввысь.
 Собор Парижской Богоматери. Назван именем Девы Марии и посвящен Богу. Разве это не гимн единству — в Божественном — мужского и женского начал? На небесном плане — да!
 А на земном:
 Мужчина и Женщина — две ипостаси,
 Два лика святых на иконе любви!
 ...Спасибо тебе, Нотр-Дам. Спасибо за неожиданное ночное откровение.

179

НАДЕЖДА ИЛЬЕНКО,

Париж

ЛЮДИ. СТИХИ...

*Есть люди, встречи с которыми запоминаются надолго... Для меня это преждевременно ушедший из жизни москвич **Владимир Курасов**. Он был журналист, бард, поэт... Дорого и близко мне по-своему и то, что пишет полковник в отставке, живущий в Молдавии, **Михаил Ковалев**... Конечно, вкусы у всех разные. Буду рада, если их стихи, которыми я иногда согреваю душу, понравятся кому-то из «глагольцев»...*

Владимир КУРАСОВ,

Москва

ГОЛУБАЯ ПЕСЕНКА

*Я у неба возьму голубую краску
И тебе расскажу голубую сказку.
Феи добрые в ней на росе колдуют
И поют, и поют песню голубую.
В этой песне слова — голубые звезды,
В эту сказку ведут голубые версты.
По дорогам метут голубые ветры,
Там у белых берез голубые ветви.
Засыпай, и во сне к тебе вдруг приду я,
Увезу, унесу в сказку голубую.
Нет, не даром я шел годы за тобою,
Стала ты для меня сказкой голубою.*

180

Михаил КОВАЛЕВ,

Молдавия

* * *

*Чужие мысли не читай, не надо,
Что толку в пожелтевших дневниках?
Пусть они хранят остаток яда,
Но он уже не вызывает страх.
Я доверял им все, что было свято,
Что постоянно мучило и жгло,
Я на кресте был, как Христос, распятый
За первородный грех, людское зло.
Теперь я стал степеннее и тише,
В душе моей блаженство и покой,
Готов идти пешком хоть до Парижа,
Чтобы, как раньше, встретиться с тобой.
Я знаю, время сокращает дали,
Но только к тем не пропадает пыл,
Кто нес чужие, как свои, печали
От самого рожденья до могил.
И ты напрасно старые тетради
Перебираешь снова до строки,
Ведь мы с тобою, слава Богу, ладим,
А значит, постарели дневники.*

181

ВИКТОР МУШИНСКИЙ,

Москва

ЛЕВ ТОЛСТОЙ

И ФЕЛЬДМАРШАЛ КУТУЗОВ

1

В послесловии к «Войне и миру» Лев Толстой, определяя жанр этого произведения, пишет: «Это не роман, еще менее поэма, еще менее историческая хроника. «Война и мир» есть то, что хотел и мог выразить автор в той форме, в которой оно выразилось». (Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. М., 1912 г. Т. VIII. С. 339.) Автор решительно отрекается от прочтения его книги как исторической хроники, хотя в ней описаны события грандиозного исторического масштаба: противостояние России и наполеоновской Франции на протяжении семи лет с 1805 по 1812 годы. При этом автор точно указывает даты и действующих исторических лиц, ход и результаты военных и дипломатических действий. Но, может быть, образы исторических лиц являются больше плодом художественной фантазии Толстого, нежели соответствия реальным прототипам? Нет, сам автор в том же послесловии курсивом выделяет следующее место: «Везде, где в моем романе (все-таки романе! — В. М.) говорят и действуют исторические лица, я не выдумывал, а пользовался материалами, из которых у меня во время моей работы образовалась целая библиотека книг, заглавия которых я не нахожу надобности выписывать здесь, но на которые всегда могу сослаться» (указ. соч., с. 345).

Почему же в таком случае Толстой отказывает своему сочинению в очевидном, в исторической хроникальности? И на этот вопрос Толстой обстоятельно отвечает в послесловии. «Разногласие мое в описании исторических событий с рассказами историков... не случайное, а неизбежное. Историк и художник, описывая историческую эпоху, имеют два совершенно различные предмета. Как историк будет неправ, если он будет пытаться представить историческое лицо во всей сложности отношений ко всем сторонам жизни, так и художник не исполнит своего дела, представляя лицо всегда в его значении историческом... Историк обязан иногда, пригибая истину, 182

подводить все действия исторического лица под одну идею, которую он вложил в это лицо. Художник, напротив, в самой одиночности этой идеи видит несообразность со своей задачей и старается только понять и показать не известного деятеля, а человека.

Но особый счет Толстой предъясняет русским историкам, для которых (странно и страшно сказать) «Наполеон — это ничтожнейшее орудие истории... есть предмет восхищения и восторга; Кутузов же представляется им чем-то неопределенным и жалким, и, говоря о Кутузове в 12 годе, им всегда немножко стыдно» указ. соч., с. 182). С негодованием пишет Толстой о людях из окружения Кутузова, клеветавших на него, якобы он с начала кампании мешал им победить Наполеона, якобы он чуть ли не подкуплен Наполеоном. Полемизируя с историками, Толстой в самом тексте романа называет лишь одну фамилию русского историка — Богдановича, который написал, что Кутузов был хитрый придворный лжец, боявшийся имени Наполеона и своими ошибками под Красным и Березиной лишивший русские войска славы — полной победы над французами (указ. соч., с. 181). (См. Богданович М. И. История Отечественной войны 1812 года по достоверным источникам. СПб, 1859–1860 гг.)

Толстой негативно упоминает еще одного автора — генерал-лейтенанта Александра Ивановича Михайловского-Данилевского, участника войны 1812 года, который написал свою книгу «Описание Отечественной войны» в 1834–1840 годах по высочайшему повелению императора Николая I. Она была переиздана в 1912 году к столетию Отечественной войны под заглавием «Отечественная

война 1812 года» и в этом виде вновь переиздана в 2004 году издателем Захаровым. Таким образом, мы имеем возможность сравнить в деле художника и историка. Мы увидим, что, несмотря на неприязнь художника к труду историка, по главному вопросу нашей темы — о роли Кутузова — их взгляды в основном совпадают.

Расхождения между художником и историком мы действительно обнаруживаем с первых же картин начавшейся войны. Они касаются общей оценки готовности русской армии к войне. Толстой пишет: «Ничто не было готово к войне, которой все ожидали и для приготовления которой император приехал из Петербурга. Общего плана действий не было. Колебания о том, какой план из всех тех, которые предлагались, должен быть принят, еще более усилились после месячного пребывания императора в главной квартире. В трех армиях был в каждой отдельный главнокомандующий, но общего начальника над всеми армиями не было, и император не принимал на себя этого звания» (указ. соч., т. VII, с. 13).

183

Между тем, генерал-историк излагает основные положения операционного плана, разработанного на случай начала военных действий, упоминает работы по укреплению Риги и Киева, строительство укрепленных лагерей на берегах Двины и Дриссы (указ. соч., с. 15–16).

Однако и историк, и художник сходятся во мнении, что никто не предвидел перенесение военных действий на исконно российские земли в сердце России.

Далее Толстой весьма красочно и подробно описывает неуверенность и разногласия, творившиеся в окружении императора во время пребывания армии в укрепленном лагере на Дриссе. Князь Андрей насчитал восемь группировок, каждая из которых предлагала свой план дальнейшего ведения войны: отступить дальше или дать сражение, а может быть, просить мира, чтобы избежать катастрофы. Одни требовали назначения Барклая-де-Толли командующим над всеми армиями, другие предпочитали в этой роли Биннгсена. Наконец, государственный секретарь Шаилов, генералы Балаиов и Аракчеев подписали письмо Александру I с предложением покинуть армию. Вот как об этом пишет Толстой: «Одушевление государем народа и воззвание к нему для защиты отечества, то самое... одушевление народа, которое было главной причиной торжества России, было представлено государю и принято им как предлог (курсив мой. — В. М.) для оставления армии (указ. соч., с. 46).

А вот как оценивает этот эпизод историк: «Вся Россия восстала на врага по мановению царя, едва он призвал верноподданных своих на защиту государства! Вместе с этим должен был естественно измениться и характер войны. Новое положение вызвало необходимость присутствия Александра I в центре государства, для направления всех средств и сил к великой цели — избавлению России» (указ. соч., с. 32).

Итак, художник и историк толкуют факт отъезда царя из армии в Москву с весьма различными нюансами: у Толстого для Александра I важнее всего «не потерять лица» при оставлении армии, Михайловский-Данилевский видит истинное место императора в начавшейся войне.

Разногласия в высшем командовании русской армии достигла апогея после боев за Смоленск. Лев Толстой приводит полный текст письма Багратиона Аракчееву с указанием даты — 7 августа и места положения отправителя — Михайловка на Смоленской до-

роге. В этом письме Багратион клянется честью, что если бы не было приказа Барклая де Толли отступить, он удержал бы Смоленск, а На-

полеон потерял бы половину армии под стенами города. Багратион, не стесняясь в выражениях, называет Барклая «не то что плохим, но дрянным генералом», трусом, бестолковым, медлительным, и заключает письмо следующей фразой: «Вся армия плачет совершенно и ругают его насмерть». Багратион настаивает на назначении единого главнокомандующего над всеми армиями (указ. соч., с. 124–125).

Эта идея витала в воздухе. Витало и имя главнокомандующего — Кутузов. Толстой описывает, как эта идея муссировалась в салонах петербургского света: князь Василий считал, что нельзя назначать на должность главнокомандующего человека, который не мог верхом сесть, засыпал на советах, человека самых дурных нравов... человека дряхлого и слепого. И далее Толстой едко замечает: «24 июля это было совершенно справедливо. Но 29 июля Кутузову пожаловано было княжеское достоинство». (Заметим, кстати, что достоинство было не просто княжеское, а светлейшего князя, что означало принадлежность к императорской семье. — В. М.) А «8 августа был собран комитет из генерал-фельдмаршала Салтыкова, Аракчеева, Вязьмитинова, Лопухина и Кочубея для обсуждения дел войны. Комитет решил, что неудачи происходили от разноначалия, и, несмотря на то, что лица, составлявшие комитет, знали о нерасположении государя к Кутузову, комитет после короткого совещания предложил назначить Кутузова главнокомандующим. И в тот же день Кутузов был назначен полномочным главнокомандующим армий и всего края, занимаемого войсками» (указ. соч., с. 128). Почти протокольная информация.

Генерал-историк более щедр на освещение этого эпизода. Он также говорит об общем недоверии к Барклаю де Толли, о «невольной» явившейся мысли назначить главнокомандующего над всеми армиями, для чего государь назначил комитет. В состав комитета, кроме указанных Толстым сановников, вошел еще и министр внутренних дел Балашов. Комитет заседал с 5 августа. Были рассмотрены и отвергнуты кандидатуры генералов Биннгсена, Багратиона, Тормасова и отставного графа Палена. «Последним было произнесено имя Кутузова, после чего прекратились тотчас же все прения» (см. указ. соч., с. 104).

Устами одного своего персонажа Толстой сообщает слух о том, что Кутузов как непереносимое условие выговорил, чтобы наследник цесаревич не был при армии. (Великий князь Константин Павлович, сторонник заключения мира с Наполеоном, чудом избежавший плена под Аустерлицем в 1805 году. — В. М.). «Говорят даже, — замечает Толстой устами другого персонажа, — что светлейший непереносимым условием поставил, чтобы сам государь не приезжал к армии». Иными словами, толстовский Кутузов полностью брал на себя и по-

185
зор поражения, и славу победы. А венценосные особы только могли мешать делу.

Напомню, что впервые Кутузов появляется на страницах романа в 1805 году во главе русской армии, воюющей в союзе с Австрией против Наполеона. Толстой не скупится на описание физической немощи главнокомандующего, но эта немощь не мешает ясности стратегического мышления и понимания политических интриг австрийского правительства. Кутузов не желает вступать в аустерлицкое сражение, понимает, что оно будет проиграно, но вынужден уступить давлению Александра I, находившегося при армии, и австрийскому штабу. Здесь начинается противопоставление Алексан-

дра I и Кутузова, пока только на почве стратегии и тактики. После аустерлицкого поражения Кутузов организует отступление русской армии, выдвинув арьергард под командованием Багратиона, который под Шенграбенем сдержал натиск французов и спас армию от полного разгрома.

Поэтому слухи о требовании Кутузова к императору вполне правдоподобны с учетом опыта военной кампании 1805 года. Впрочем, после Аустерлица у Александра возникла острая неприязнь к Кутузову. Он написал в письме к сестре 18 сентября 1812 года (все даты даны по старому стилю. — В. М.) следующую фразу: «по воспоминанию, что произошло в Аустерлице из-за лживого характера Кутузова» (Кутузов. Интернет, Википедия).

После информации о назначении Кутузова Толстой возвращается к нему уже в день его прибытия в Царево Займище и смотра армии. Здесь, на мой взгляд, находится ключ к толстовскому пониманию Кутузова, его психологии и военной философии. Прошу прощения за обширную цитату, но она необходима. Итак, Кутузов выслушивает предложение Денисова о партизанской войне на вражеских коммуникациях между Вязьмой и Смоленском, затем ему докладывает дежурный генерал Коновницын: «Кутузов слушал доклад дежурного генерала (главным предметом которого была критика позиции при Царевом Займище) так же, как он слушал Денисова, так же, как он слушал семь лет тому назад прения Аустерлицкого военного совета. Он, очевидно, слушал только оттого, что у него были уши, которые... не могли не слышать; но очевидно было, что ничто из того, что мог сказать ему дежурный генерал, не могло не только удивить или заинтересовать его, но что он знал наперед, что ему скажут, и слушал все это только потому, что надо прослушать, как надо прослушать поющийся молебен. То, что говорил Денисов, было дельно и умно. То, что говорил дежурный генерал, было еще дельнее и умнее, но 186

очевидно было, что Кутузов презирал и знание, и ум, и знал что-то другое, что должно было решить дело — что-то другое, независимое от знания и ума. ...Кутузов презирал ум и знание, и даже патристическое чувство, которое выказывал Денисов, но презирал не умом, не чувством, не знанием (потому что он и не старался выказывать их). А он презирал их чем-то другим. Он презирал их своею старостью, своею опытностью жизни» (указ. соч., с. 169).

И далее, беседуя с князем Андреем о турецкой войне, он открывает то, что было основой его военного искусства: «Взять крепость не трудно, трудно кампанию выиграть. А для этого не нужно штурмовать и атаковать, а нужно терпение и время. Каменский на Руцук солдат послал, а я их одних (терпение и время) посылал и взял больше крепостей, чем Каменский, и лошадиное мясо турок есть заставлял... И французы тоже будут у меня лошадиное мясо есть» (указ. соч., с. 171).

А на реплику князя Андрея, что должно будет принять сражение, он отвечает: «должно будет, если все этого захотят; нечего делать... Но нет сильнее тех двух воинов — терпение и время — они все сделают». Не сражениями Кутузов хочет победить французов, а иными средствами. И князь Андрей, размышляя над всем услышанным и увиденным, думает о Кутузове: «У него не будет ничего своего, он ничего не придумает, ничего не предпримет, все выслушает, все запомнит, все поставит на свое место, ничему полезному не помешает, ничего вредного не позволит. Он понимает, что есть что-то сильнее и значительнее его воли — неизбежный ход событий; и он умеет видеть их, умеет понимать их значение, умеет отречься от участия в этих

событиях, от своей личной воли, направленной на другое» (указ. соч., с. 172). И действительно, Денисов получил «добро» на партизанскую войну, а позиция под Царевым Займищем была признана непригодной для генерального сражения. Армия продолжала отступать к Москве. Впереди было поле русской славы — Бородино.

Бородинское сражение жаждали все — и русские, и французы.

В сущности, Наполеон от границы гнал за русской армией, чтобы генеральным сражением решить войну в свою пользу и заключить победоносный мир. И вот наконец-то! 24 августа состоялась увертюра — взятие французами шевардинского редута, а 26 августа грянула Бородинская битва. Но что же думает о ее значении Толстой? Здесь я вновь обязан прибегнуть к авторскому тексту: «Для чего было дано Бородинское сражение? Ни для французов, ни для русских оно не имело ни малейшего смысла. Результатом ближайшим было и должно было быть — для русских то, что мы приблизились к гибели Москвы (чего мы боялись больше всего в мире), а для французов то, что

187
они приблизились к гибели всей армии (чего они также боялись больше всего в мире). Результат этот был тогда же очевиден, а между тем, Наполеон дал, а Кутузов принял это сражение... Давая и принимая Бородинское сражение, Кутузов и Наполеон поступили произвольно и бессмысленно. А историки под совершившиеся факты уже потом подвели хитросплетенные доказательства предвидения и гениальности полководцев, которые из всех произвольных орудий мировых событий были самыми рабскими и произвольными деятелями» (указ. соч., с. 182–183). Убийственная характеристика! Разница (согласно Толстому) между Кутузовым и Наполеоном состоит в данном случае в том, что Кутузов понимал свою роль в происходящих событиях («если все этого захотят»), а Наполеон заблуждался. Толстой пишет, что сами историки Наполеона отмечают, что еще от Смоленска он хотел остановиться, знал об опасности своего растянутого положения и знал, что занятие Москвы не будет концом кампании, потому что от Смоленска он видел, в каком положении оставались ему русские города, и не получал ни одного ответа на свои неоднократные заявления о желании вести переговоры.

Описание Толстым самого сражения никак нельзя отнести к страницам исторической хроники. Это художественное изображение побоища, нарисованное в соответствии с идейно-художественным замыслом писателя. Он открывает читателю три плана: первый — самый большой — посвящен Наполеону, его полководческим действиям, его руководству войсками; второй план — боевой страде солдат и офицеров русской армии и третий план — Кутузову на поле боя. И если Наполеон показан активным командармом, постоянно реагирующим на происходящее, отдающим команды и раздающим выговоры, то Кутузов «сидел, понутив седую голову и опустившись тяжёлым телом на покрытой ковром лавке... Он не делал никаких распоряжений, а только соглашался или не соглашался на то, что предлагали ему... Он выслушивал привозимые ему донесения, отдавал приказания, когда это требовалось подчиненными; но, выслушивая донесения, он, казалось, не интересовался смыслом слов того, что ему говорили, а что-то другое в выражении лиц, в тоне речи доносивших интересовало его. Долголетним военным опытом он знал и старческим умом понимал, что руководить сотнями тысяч человек, борющихся со смертью, нельзя одному человеку, знал, что решают участь сражения не распоряжения главнокомандующего, не место, на котором стоят войска, не количество пушек и убитых людей, а

та неуловимая сила, называемая духом войска, и он следил за этой силой и руководил ею, насколько это было в его власти» (указ. соч. 188

с. 242–243) Под духом войска Толстой понимал желание драться и подвергать себя опасности (указ. соч., т. VIII, с. 122). Вот это желание и поддерживал Кутузов в армии сценами с Вольцогеном, Раевским и, наконец, приказом о наступлении на следующий день. Правда, оценив масштаб потерь, Кутузов был вынужден отменить этот приказ. Но он громогласно объявил о победе. Два великих вое начальника, один надеется в первую очередь на свою гениальность, другой — на высокий дух солдат и офицеров. Позиция Толстого во многом обусловлена его воззрением на фатальный характер истории, где личность играет ничтожную роль. Во многом, но не во всем.

Конечно, генерал Михайловский-Данилевский по-иному оценивает роль Кутузова в Бородинской битве: «Великая заслуга князя Кутузова под Бородином состояла, во-первых, в решимости принять сражение, причем исполинская слава Наполеона не поколебала этой решимости, а во-вторых, в том искусстве, с которым он, сохраняя полное хладнокровие, руководил боем, и все замыслы Наполеона были своевременно предугадываемы и парализованы» (указ. соч., с. 118). 30 августа Кутузову было присвоено воинское звание генерал-фельдмаршала.

Как же оценили значение Бородинской битвы историк и художник?

Генерал приводит цитату из донесения Кутузова царю. В этом донесении главнокомандующий отмечает доблесть русских воинов, которые не уступили превосходящим силам неприятеля и удержали свои позиции, и «все народы Европы, составлявшие армию Наполеона, убедились воочию, что русские могут скорее пасть с оружием в руках, чем быть побежденными» (указ. соч., с. 118). В этой оценке нет исторического контекста. И в этом отношении художник оказался большим историком, чем сам историк. Лев Толстой написал: «Прямым следствием Бородинского сражения было беспричинное бегство Наполеона из Москвы, возвращение по старой Смоленской дороге, погибель 500-тысячного нашествия и погибель Наполеоновской Франции, на которую в первый раз под Бородиным была наложена рука сильнейшего духом противника» (указ. соч., т. VII, с. 260). Логически безупречное рассуждение о бессмысленности Бородинского сражения, высказанное Толстым в начале описания этого сражения, опровергается самим же автором в заключительных строках о Бородине. Почему? Потому что в описании сражения Толстой показал превосходство духа русской армии над французами, превосходство Кутузова над Наполеоном: Наполеон управлял военными действиями, Кутузов доверил это управление прежде всего своим генералам,

189
среди которых были выдающиеся полководцы Багратион, Барклай де Толли, Раевский, Дохтуров, сам он управлял духом армии, и это оказалось решающим. Так, на мой взгляд, описал Бородино Толстой.

2

Толстовское описание совета в Филях можно, на мой взгляд, отнести к самым высоким образцам художественной прозы. Чего стоит одна фраза, характеризующая главного оппонента Кутузова: «Все ждали Биннгсена, который доканчивал свой вкусный обед, под предлогом нового осмотра позиции» (указ. соч., с. 271). Именно Биннгсен возглавил группу генералов, требовавших нового сражения под Москвой, да и сам Кутузов еще 31 августа был готов драться за

Москву. Когда Ермолов доложил ему, что под Москвой нет позиции для сражения, Кутузов сказал ему: «Ты не здоров, голубчик. Подумай, что ты говоришь». Кутузов, пишет Толстой, еще не мог понять, чтобы было возможно отступить за Москву без сражения. (Правда, Михайловский-Данилевский приводит письмо графа Ростопчина царю, в котором утверждается, что Кутузов уже 29 августа решил оставить Москву (указ. соч. с. 134).

Но в Филях (в ночь с 31 августа на 1 сентября) Кутузов ставит перед военным советом вопрос: «Спасение России в армии. Выгоднее ли рисковать потерей армии и Москвы, приняв сражение или отдать Москву без сражения?» И выслушав различные мнения, данной ему властью отдал приказ отступать. Сцена заканчивается двумя Кутузовскими репликами: «Этого я не ждал! Этого я не думал!» и «Будут же они лошадиное мясо жрать, как турки».

В художественном изображении событий, связанных с оставлением Москвы, оккупацией города французами и их бесчинствами в городе, а также тарутинским маневром, Толстой следует за исторической хроникой презираемого им Михайловского-Данилевского.

Конечно, Толстой опускает многие подробности совещания в Филях, оставления Москвы и перехода с рязанской на калужскую дорогу.

При чтении Толстого, его описания исхода русской армии из Москвы возникает невольный вопрос: почему французы не навязали ей бой, дали возможность русскому арьергарду спокойно покинуть город?

Армия медленно покидала его, у Дорогомиловского моста скопились артиллерия и обозы. Французы угрожали отрезать арьергард от города. Тогда командующий арьергардом генерал Милорадович отправил к маршалу Мюрату парламентаря сказать ему, что если он хочет занять Москву неведомой, то французские войска должны

190 замедлить движение, иначе Милорадович будет драться за каждый дом и оставит от Москвы одни развалины. Мюрат согласился на это предложение, а затем было заключено перемирие до семи часов утра следующего дня (3 сентября), но с тем условием, что французы будут вступать в город вслед за отходящими русскими войсками. Благодаря этому русский арьергард с артиллерией и обозами спокойно вышел на рязанскую дорогу.

Нет разночтения у Толстого и Михайловского-Данилевского в определении даты начала московского пожара и его причин. По Толстому первый московский пожар (зареву которого было видно за 20 километров) вспыхнул 2 сентября. Михайловский-Данилевский пишет, что к вечеру 3 сентября Москва была объята пламенем, и пожар приближался к Кремлю: эти две даты легко совмещаются: начался пожар 2 сентября, а разгорелся 3-го. Утром этого дня, пишет Толстой, Пьер увидел, что горели в одно и то же время Каретный ряд, Гостиный двор, Замоскворечье, Поварская, барка на Москве-реке и дровяной рынок у Дорогомиловского моста.

Что касается причин пожара, Толстой не разделяет мнение о русских поджигателях (после расстрела поджигателей — замечает он — сгорела вторая половина Москвы). Тем более не перекладывает вину на графа Ростопчина. Он полагает, что пожары начались потому, что деревянный город, каким в основном была Москва, был оставлен жителями, а войска плохо соблюдали правила пожарной безопасности, дважды в день готовя на кострах пищу и т. п. (указ. соч., т. VII, с. 350). Генерал-историк более конкретен. Заметив, что причина московского пожара осталась невыясненной, он предполагает, что такими причинами могли стать: приказ Кутузова сжечь барки с

военным имуществом, стоявшие на Москве-реке; патриотические чувства жителей, не желавших что-либо уступить врагу: так владельцы лавок в Каретном ряду по общему согласию зажгли их. Участвовали в поджогах и французы, о чем свидетельствовал начальник воспитательного дома Тутолмин (указ. соч., с. 135) Французы судили 26 человек, обвиненных в поджогах. 10 из них приговорили к смертной казни, 16 — к тюремному заключению (указ. соч., с. 134–135). Толстовское описание расстрела этих осужденных непревзойденно по художественной силе.

После перехода русской армии с рязанской дороги на Калужскую у Кутузова, отмечает Михайловский-Данилевский, в середине сентября была возможность разгромить у Подольска соединения Мюрата и Понятовского. «Князь Кутузов, между тем, отбросив вопреки совету некоторых лиц главной квартиры приобрести перевес в деле над не-

191
приятельскими двумя отрядами ради ничтожной славы, стремился неуклонно к намеченной цели: 1) дать время разгореться народной и партизанской войне; 2) усыпить Наполеона в Москве; 3) усилить армию и 4) не встревожить Наполеона, но ослабить и изнурить его мало-помалу» (указ. соч., с. 147). Очевидно, что взгляды художника и историка на стратегию Кутузова очень близки: оба видят суть этой стратегии в разжигании народной и партизанской войны.

Нежелательным для Кутузова было и Тарутинское сражение, он уступил настоятельному требованию царя о наступательной операции. В описании этого сражения Толстой следует краткому сценарию битвы, написанному Михайловским-Данилевским (указ. соч. т. VIII, с. 76–83, 172–174). Приведу оценки этого сражения. Генерал: «Тарутинское сражение было первым наступательным действием главной армии с начала похода и увенчалось значительным успехом» (указ. соч., с. 173). Толстой: «Трудно и невозможно придумать какой-нибудь исход этого сражения более целесообразный, чем тот, который оно имело. При самом малом напряжении, при величайшей путанице и при самой ничтожной потере были приобретены самые большие результаты за всю кампанию, был сделан переход от отступления к наступлению, была обличена слабость французов и был дан толчок, которого только и ожидало Наполеоновское войско для начатия бегства» (указ. соч., с. 83).

Однако, те военные цели, которые предусматривались планом операции, составленным генералом Толем, не были достигнуты. Толстой пишет, что урок Тарутинского сражения должен был остудить горячие головы в его штабе: «Они должны понять, что мы только можем проиграть, действуя наступательно. Терпение и время — вот мои воины-богатыри» (указ. соч., с. 111).

Со времени известия об оставлении французами Москвы «и до конца кампании вся деятельность Кутузова заключается только в том, чтобы властью, хитростью, просьбами удерживать свои войска от бесполезных наступлений, маневров и столкновений с гибнущим врагом» (указ. соч., с. 114). Один из парадоксов Толстого, связанных с тактикой Кутузова, звучит так: «Кутузов везде отступает, но неприятель, не дожидаясь его отступления, бежит назад в противную сторону» (указ. соч., с. 114). И Толстой объясняет этот парадокс: «армия Наполеона не могла быть спасена уже ничем, потому что она в самой себе несла уже тогда условия своей гибели» (указ. соч.). Эта армия, продолжает Толстой, имела обильное продовольствие в Москве, не могла удержать его, а стоптала под ногами. Эта армия, придя в Смоленск, где были накоплены большие запасы продоволь-

192

ствия (Наполеон намеревался там зимовать), не разбирала (то есть распределяла. — В. М.) продовольствие, а грабила его.

Почему Наполеон не пошел на Калугу и Юхнов? Вот в этом вопросе историки хором уверяют: русские их не пустили в бою под Малоярославцем. Фактически не было боя. Кутузов отступил. Дорога на Калугу была открыта — дважды подчеркивает Толстой (указ. соч., с. 114, 163). Так почему? У Наполеона не было уверенности, что, преодолев сопротивление русских, он получит по дороге в Смоленск через Калугу, Юхнов и Ельню продовольствие, фураж и теплые избы для ночного отдыха. Если по дороге от Смоленска до Москвы Наполеон, по его словам, «не видел ничего, кроме пепла», то почему пейзаж должен измениться по дороге из Калуги в Смоленск? Ведь Калужская губерния населена теми же русскими, что Смоленская или Московская, «и с тем свойством огня сжигать все, что зажигают» (указ. соч.). Наполеон избирает кратчайший путь на Смоленск и борьбу с голодом, которую он безнадежно проиграл. Михайловский-Данилевский прямо пишет: «...не мороз, но голод был главной причиной расстройств неприятельской армии. Этого достиг князь Кутузов своими распоряжениями, не допустив (голос из общего хора историков. — В. М.) неприятеля сначала в Калугу и Юхнов, а затем в Могилев, изнуряя в то же время беспрестанными ударами, не давая покоя ни днем, ни ночью. Всякое намерение Наполеона было парализовано, и фельдмаршал безошибочно считал этот план действий более подходящим для гибели неприятеля, чем генеральное сражение. Последствия подтвердили вполне справедливость подобного мнения» (указ. соч., с. 203–204).

Очень важное признание участника Отечественной войны. Как рассказывает Толстой, после того, как определилось направление бегства французов, все высшие чины армии хотели отличиться, отрезать, перехватить, полонить французов, и все требовали наступления. Кутузов один понимал, что «ком снега нельзя растаять мгновенно» и «все силы свои (силы эти не очень велики у каждого главнокомандующего) употреблял на то, чтобы противодействовать наступлению». Зачем сражение и потеря людей, зачем бесчеловечное добивание несчастных, если на пути от Москвы до Вязьмы без сражения растаяла одна треть этого войска (указ. соч., с. 116–117). Как пишет Толстой, Кутузов полагал, что неприятелю надо дать золотой мост, что ни Тарутинское, ни Вяземское, ни Красненское сражения не нужны, что все делается само собой лучше, чем мы того желаем, что с чем-нибудь надо прийти за границу, что за десять французов он не отдаст одного русского» (указ. соч., с. 179). Принци-

193

пиальный противник войны как средства политики Толстой ценил в Кутузове стремление к сбережению армии, сбережению солдат. Чтобы подчеркнуть правоту Кутузова, Толстой приводит данные о степени истощения русской армии: во время движения от Тарутина до Красного армия потеряла убитыми и ранеными не более пяти тысяч человек. Но из ста тысяч солдат и офицеров, вышедших из Тарутина, к Красному пришли только пятьдесят тысяч (указ. соч.). Этого не могли понять лихие генералы, рвавшиеся в бой во что бы то ни стало, доходя в своем самоуправстве до прямого нарушения приказов главнокомандующего. И Толстой не жалеет их репутации. Вот как он характеризует генерала Милорадовича, героя № 1 всех исторических исследований: «Генерал Милорадович, который гордил, что он знать ничего не хочет о хозяйственных делах отряда,

которого никогда нельзя было найти, когда его было нужно, рыцарь без страха и упрека, как он сам называл себя, и охотник до разговоров с французами, посылал парламентариев, требуя сдачи, теряя время, и делал не то, что ему приказывали» (указ. соч., с. 181). Такое было возможно потому, что после Тарутина армия управлялась не только Кутузовым, но и царем из Петербурга. Оттуда даже прислали фельдмаршалу подробный план войны. Кутузов, правда, отверг этот план. Но начальником его штаба был генерал Биннгсен, который имел личную переписку с царем и в своих письмах всячески поносил Кутузова, называя его бездельником и сибаритом. Толстой подчеркивает одиночество Кутузова среди его окружения, проистекавшее оттого, что он один понимал суть происходящих событий.

Теперь остановлюсь на двух фрагментах из книги Михайловско-го-Данилевского. Он признает неудачу Милорадовича под Вязьмой: отрезать неприятеля от Вязьмы не удалось; и дает оценку действий Кутузова под Красным: «...фельдмаршал не хотел подвергать случайностям боя то, чего он мог достигнуть течением времени: отступление Наполеона было его поражением, и армия гибла сама собою; сражение повлекло бы значительную гибель русских войск, так как полки Наполеона, лично им предводимые, несомненно предпочли бы плену смерть, и сопротивление было бы отчаянное» (указ. соч., с. 195). Прочитав этот пассаж, я невольно задал себе вопрос: почему в тридцатых годах генерал Михайловский-Данилевский в официальном источнике оправдывает тактику Кутузова, а в пятидесятых годах генерал Богданович тоже в официальном источнике (его книга тоже написана по высочайшему повелению) эту стратегию осуждает и толкует ее вкось и вкривь? Может быть, роль сыграло поражение в Крымской войне, за которое ответственность возлагалась на прежне-

194
го императора Николая I? Или надвигалась смена вех и нужны были жертвы? Во всяком случае великая заслуга Толстого состоит в том, что он бросил перчатку официальной историографии и силой своего художественного гения вернул имя Кутузова в пантеон русской славы. Кроме терпения и времени у Кутузова был еще один богатырь, или, если хотите, козырная карта — «дубина народной войны». «Со времени пожара Смоленска, — пишет Толстой, — началась война, не подходящая ни под какие прежние предания войн. Сожжение городов и деревень, отступление после сражений, удар Бородин и опять отступление, пожар Москвы, ловля мародеров, переимка транспортов, партизанская война — все это были отступления от правил... Несмотря на жалобы французов о неисполнении правил, несмотря на то, что русским высшим по положению людям казалось почему-то стыдным драться дубиной... дубина народной войны поднялась со всей своей грозной и величественной силой и, не спрашивая ничьих вкусов и правил, с глупой простотой, но с целесообразностью, не разбирая ничего, поднималась, опускалась и гвоздила французов до тех пор, пока не погибло нашествие» (указ. соч., с. 120).

Толстой всем сердцем приветствует этот народный гнев и народное возмездие: «И благо тому народу, который не как французы в 1813 году, отсалютовав по всем правилам искусства и перевернув ипагу эфесом, грациозно и учтиво передает ее великодушному победителю, а благо тому народу, который в годину испытания, не спрашивая о том, как по правилам поступали другие в подобных случаях, с простотою и легкостью поднимает первую попавшуюся дубину и гвоздит ею до тех пор, пока в душе его чувство оскорбления и мести не заменяется презрением и жалостью» (указ. соч., с. 120–121).

В художественной ткани романа эпизодам партизанской войны уделено не так уж много места: это операции отрядов Денисова и Долохова, освобождение из плена Пьера и гибель Пети Ростова. Без сомнений можно сказать, что прототипом Денисова был знаменитый герой Отечественной войны Денис Васильевич Давыдов, да и сам Толстой это признает в послесловии. Правда, глава о партизанских действиях Денисова и Долохова начинается с упоминания Дениса Давыдова, который «своим русским чутьем первый понял значение той страшной дубины, которая, не спрашивая правил военного искусства, уничтожала французов, и ему принадлежит слава первого шага в узаконении этого приема войны. 24 августа бы учрежден первый партизанский отряд Давыдова...» (указ. соч., с. 123).

А вот что сообщает о Давыдове-партизане Михайловский-Данилевский: «...после отступления от Смоленска подал Багратиону

195
мысль о партизанской войне. Получив 80 казаков и 50 гусар своего (Ахтырского. — В. М.) полка Давыдов 2 сентября в городе Токареве разбил неприятельскую шайку, захватил два обоза и 160 пленных; это был первый набег, положивший начало бесчисленному количеству подобных же удач, но уже с более сильным отрядом...» (указ. соч., с. 330). Как пишет генерал, в Тарутинском лагере была поддержана и исполнена мысль офицера Орлова, вернувшегося из Смоленска, о том, что в тылу французской армии «с сотней казаков можно нанести неприятелю много бед». Южнее Москвы были образованы отряды князя Вадбольского, Сеславина, Фонвизина, Давыдова, князя Кудашева, Ефремова и Фигнера. Отряды редко превышали 500 человек; никаких определенных целей, кроме нанесения наибольшего вреда, им не указывалось... Для содействия успеху партизан Кутузов приказал генерал-майору Дорохову взять Верею. Дорохов выполнил приказ. Едва была взята Верея, как к Дорохову явились 1000 вооруженных крестьян, предводимых соборным священником Иоанном Скобеевым. Взятие Вереи открыло партизанам московскую столбовую дорогу, по которой из Смоленска в Москву и обратно двигались неприятельские обозы, парки, больные и отсталые. К партизанам примыкали крестьяне с вилами, косами, топорами или оружием, отбитым у неприятеля. Крестьяне очень жестоко расправлялись с попавшими к ним в плен французами (указ. соч., с. 159–162).

Кутузов у Толстого — полководец именно этой войны «не по правилам», вождь народного сопротивления нашествию. Поэтому изгнание Наполеона из России он считал окончанием войны. Он не хотел и не мог понимать значение предстоящей кампании по освобождению Европы. Он считал, что новая война может только ухудшить положение России, пытался доказать государю невозможность набора новых войск. При таком настроении фельдмаршал становился помехой и тормозом предстоящей войны (указ. соч., с. 200–201). «Как естественно, и просто, и постепенно явился Кутузов из Турции... именно тогда, когда он был необходим, точно так же естественно, постепенно и просто теперь, когда роль Кутузова была сыграна, на место его явился новый требовавшийся деятель...»

Представителю русского народа после того, как враг был уничтожен, Россия освобождена и поставлена на высшую ступень своей славы, русскому человеку, как русскому, делать больше было нечего. Представителю народной войны ничего не оставалось, кроме смерти. И он умер» (указ. соч., с. 201).

Новым требовавшимся деятелем стал Александр I. Он возглавил русскую армию в освободительном (завоевательном?) походе в

196

Европу. Вот что пишет по этому поводу Толстой: «Война 1812 года, кроме своего дорогого русскому сердцу народного значения, должна была иметь другое — европейское... и для этой войны нужен был новый деятель, имеющий другие, чем Кутузов, свойства, взгляды, движимый другими побуждениями... Александр I для движения народов с востока на запад и для восстановления границ был так же необходим, как был необходим Кутузов для спасения и славы России» (указ. соч., с. 201). Эта, скажем так, жесткая схема помешала Толстому объективно оценить роль императора в народной войне. Михайловский-Данилевский правильно указывает, что московский «Высочайший манифест» всколыхнул всю Россию. В этом манифесте Александр I призвал к организации народного ополчения, возложив эту задачу на дворянство. В Смоленске в ответ на просьбу местного дворянства он разрешил вооружить все население, пригодное к ополчению, в том числе и крестьян. Александр I твердо, не колеблясь, даже в самые тяжкие дни после потери Москвы отвергал все предложения о мире. Несмотря на свою неприязнь к Кутузову, он щедр на награды: светлейший князь, фельдмаршал, а по окончании войны в России Кутузов награждается орденом Святого Георгия первой степени и становится первым полным георгиевским кавалером. У Толстого Александр I противопоставляется Кутузову как государственное начало — народному. Он вмешивается в дела управления армией, и даже Кутузову из Петербурга присылают полный план ведения войны. Главнокомандующий этот план отвергает со всеми необходимыми по этому случаю выражениями в глубоком уважении и даже восторге. Александр I, конечно, не понимает замысел Кутузова и гонит армию в наступление. Фактически он потворствует чрезмерной лихости генералов, он ведет личную переписку с начальником штаба армии Биннгсеном, который в своих донесениях порочит Кутузова, называя его бездельником и сибаритом. И Александр I слушает его, а дворцовая бюрократия плетет интриги против фельдмаршала. Но вот война перенесена в Европу. И теперь Толстой характеризует Александра I как того человека, который обладал всеми качествами, необходимыми для того, чтобы возглавить освобождение Европы. Что нужно для этого человека? «Нужно чувство справедливости, участие к делам Европы, но отдаленное, не затемненное мелочными интересами; нужно преобладание высоты нравственной над сотоварищами — государями того времени; нужна кроткая и привлекательная личность; нужно личное оскорбление против Наполеона. И все это есть в Александре I... Во время народной войны лицо это бездействует, так как оно не нужно. Но как скоро является

197

необходимость европейской войны, лицо это в данный момент является на свое место и, соединяя европейские народы, ведет их к цели» (указ. соч., с. 243). Толстой, однако, не ставит точку. Он довершает портрет Александра I ответом на поставленный им же вопрос: как употребил Александр I власть, на вершине которой он находился после 1815 года? «Александр I — умиротворитель Европы, человек, с молодых лет стремившийся только к благу своих народов, первый зачинщик либеральных нововведений, теперь, когда, кажется, он обладает наибольшей властью и потому возможностью сделать благо для своих народов... вдруг признает ничтожность этой мнимой власти, отворачивается от нее. Передает ее в руки презираемых им и презренных людей и говорит только: «Не вам, не нам, а Имени Твоему! Я человек тоже, как и вы; оставьте меня жить как человека и думать

о своей душе и о Боге» (указ. соч.). Император отыграл свою историческую роль, реализовал свою историческую личность. Вслед за Кутузовым. Мавр сделал свое дело, мавр может уйти. Может быть, в этой шекспировской формуле выражен жестокий закон истории. В заключение расскажу анекдот, услышанный мною от француза: Александр I во время пребывания в Париже едет по мосту «Аустерлиц». Сопровождающий его придворный французского короля спрашивает: «Сир, может быть, вам неприятно это название? Мы можем его поменять». «Неважно, как называется этот мост, — отвечает Александр, — важно, что по нему идет моя кавалерия».

198

«МНЕ ХОТЕЛОСЬ СОЗДАТЬ ФОТОКАРТИНЫ АБСОЛЮТА...»

Литовский фотомастер и художник

Римантас Дихавичюс о себе

и своем творчестве

в беседе с Виталием Амурским

Римантас Дихавичюс
родился в 1937 году. Заслу-
женный деятель искусства

Литвы, лауреат Государ-
ственной премии, член

FIAP — Международного
союза фотохудожников, а
также член Союза журна-
листов. Несколько деся-
тилетий работал в разных
издательствах и редакциях
художественным редакто-
ром, получил известность как преподаватель. Оформитель и иллю-
стратор более двухсот книг, его авторские выставки проходили во
многих городах мира, среди которых, помимо Вильнюса — Москва
и Париж, Прага и Варшава, Чикаго и Лос-Анджелес и другие... Фото-
альбом Дихавичюса с обнаженными моделями «Цветы среди цветов»,
выпущенный в 1987 году и переиздававшийся затем трижды, принес
автору всемирную известность, продолжая работать и с фотоаппара-
том, и как художник, он реализовал в 2007 году новый авторский про-
ект «Видения», в последние же годы выпускает календарь «Талантом
и сердцем» и монографии балтийских и не балтийских художников...

С его мастерством фотографа я познакомился и писал (в со-
дружестве со ставшим позднее известным российским киноведом
А. Трошиным) около сорока лет назад, а встретившись в Вильнюсе
весной 2010 года, словно не ощутил минувшего времени — Римантас
был энергичен, полон творческих сил! Начатую в его мастерской
беседу, в которой я услышал многое из того, о чем в советскую эпо-
ху было принято говорить только между друзьями, а в наше время,
к счастью, не нуждается в конфиденциальности, мы продолжили

199

затем в Вильнюсе и, когда я вернулся из Литвы во Францию, по
Интернету...

Для читателей альманаха «Глаголь», отмечу — художественное
оформление его с первого до настоящего номера выполнено Риман-
тасом Дихавичюсом.

* * *

— Римантас, первым делом мне хотелось бы спросить: когда и как в вашу жизнь вошел фотоаппарат? Оказался ли он, говоря условно, первичен по отношению к вашей кисти художника, или — наоборот — стал «дополнением» к ней?

— Будучи студентом 3-го курса Вильнюсского художественного института (ныне — Академии художеств Литвы) я попал в очаровавшую меня экспедицию на юго-восточную окраину Литвы, в деревушку под названием Девянишкес. Мы отправились туда вместе со студентами Вильнюсского университета и Литовской консерватории. Нашей общей целью было — все записать, зарисовать, сфотографировать: устройство быта, обычаи, ремесла, легенды, предания, поговорки, словом, весь возможный литовский фольклор. А также то, как люди питались в кризисные годы — неурожая, войн, пожаров. И, конечно, песни! Их было много и разных: о любви и труде, о природе и войне, песни похоронные, прощальные — рыдания, плачи... Много позже я узнал и поразился тому факту, что та наша студенческая экспедиция, оказывается, пополнила несколькими сотнями песен богатейшее народное собрание, состоящее из более чем восьмисот тысяч песен! Такому кладу может позавидовать любая великая страна мира. Через несколько лет вышла двухтомная книга-отчет об этой нашей этнографической экспедиции. Она казалась мне приятной экскурсией, а оказалась — серьезным научно-историческим вкладом в культуру нашего края.

В ту экспедицию я отправился, конечно, как художник. Но именно там же впервые в жизни подержал в руках фотоаппарат, сделал первые снимки, а вскоре сам приобрел «Зенит», с которым не расставался многие годы. Он очень заметно подкорректировал мою жизнь и художественные интересы.

Первые шаги с фотоаппаратом были таким же счастьем и открытием, как новая игрушка для ребенка — я бегал, радовался, снимал чисто импульсивно, не давая себе рационального отчета, зачем это делаю и почему. Лишь спустя годы понял, увидел и почувствовал,

200
что можно ставить и конкретные задачи, что фотографирование дает возможность не только запечатлеть исторический факт, но и сохранить эстетический, эмоциональный и художественный заряд. Даже создать обобщенный образ времени или эпохи.

Но даже самые первые невинные фотографические радости стоили мне немалых переживаний и недоразумений, а потом и нескольких задержаний в милиции. Например, работая в редакции литовского журнала «Мокслейвис» («Школьник»), я знал, что нельзя снимать никакие заводские трубы без специального разрешения, но никак не мог предположить, что такой же запрет распространяется на бабу с внучкой... Мой первый арест произошел, когда я снял старушку с внучкой, собиравших у проселочной дороги лекарственные травы. Оказалось, старушка была слишком стара и недостаточно опрятно одета — у потенциальных зрителей, по мнению цензоров, создавался «нищенский образ» страны.

Второй арест произошел, когда в Вербное воскресенье я снимал религиозную процессию. Мне инкриминировали «поддержку и пропаганду религиозных обрядов».

В третий раз оказалось, что даже играющих во дворе детей снимать опасно — они тоже были неопрятными, грязными, да и весь двор — недостаточно чистым. «Какой смысл делать такие снимки?» — риторически вопрошали цензоры. Конечно, чтобы послать их потом за границу и наглядно показать, что компартия, которая

каждый день трубит на весь мир о счастливом детстве в нашей стране, просто нагло лжет, и такого рода свидетельства — «наглядная компрометация ее утверждений».

Все эти происшествия — задержания, приводы в милицию, объяснения — немного охладили мой пыл, я стал более внимательным и осторожным, хотя так толком и не понял, что именно снимать можно, а что — нет.

— Действительно, известно, что в советское время фотоаппарат был инструмент «подозрительный», ну, а тот, кто его держал, соответственно. Тем не менее, все это вас не смутило... Каково было ваше творческое кредо?

— Для меня как художника фотоаппарат поначалу представлялся лишь дополнительным расширением художественно-технических средств. Учеба в художественной школе, а затем в институте сформировали во мне приверженность к классике. Идеалом человеческой красоты стали образы античности и Ренессанса. С первого курса мы

201
изучали анатомию, рисовали человеческое тело и его фрагменты сначала по гипсовым слепкам, позже — непосредственно с натуры, живых моделей — молодых, спортивных, а порой старческих. Внимательное созерцание обнаженного тела было для нас делом естественным, привычным. Таким же естественным был и мой переход от рисунка к фотографии. Только у меня на вооружении уже был богатый художественный опыт — я всегда искал форму, фактуру, силуэт максимальной выразительности и образности. В то время я громко заявлял: чем больше художников придет в фотографию, тем она станет убедительней и прекрасней. Потому что, по сути, здесь действуют те же законы, что и в изобразительном искусстве.

Но, к сожалению, в то время среди художников мало кто увлекался фотографией — разве только для документальной необходимости, репродукции или чтобы запечатлеть впечатления туристической поездки. Кроме того, у большинства художников фотография ассоциировалась с натурализмом, а этот термин тогда и на слух и по смыслу звучал весьма негативно. Бывало, я даже стеснялся коллег-художников и не показывал им не только своих фоторабот, но и самой камеры. О фотографии говорил только в среде фотографов. Но однажды, в 1968 году, меня как-то взбодрил и придал смелости приехавший в Литву из Москвы известный критик и искусствовед Александр Морозов. В своей обзорной речи на Первой республиканской фотовыставке он так прокомментировал мои работы: «Тут все фотографии как фотографии, а этот автор пришел откуда-то извне...» Мне самому тогда казалось — я это остро ощущал — что в фотографии заложено множество еще нереализованных возможностей. Мечтал создавать образы, подобные античным — найти свою Венеру, Аполлона, Геракла... И искал их всюду. Приглядывался к людям на улице, на стадионе, на пляже. Была уверенность, что они ходят где-то рядом — надо только найти. Мне хотелось создать фотокартины Абсолюта, как икону, как собирательный образ своего времени. Но вскоре я с большим сожалением осознал, что мои иллюзии воплотить невозможно, что Красота бесконечна и рассыпана везде, в каждом живом и неживом объекте, и собрать ее в чем-то одном невозможно, как нельзя объять необъятное.

Касаясь техники, отмечу: раньше успех твоей работы в фотографии на 80% определялся проявленным негативом — после этого ты мало мог что изменить. Поэтому надо было быть и фотографом, и режиссером, и художником, и осветителем, и еще не знаю кем,

чтобы получить удовлетворение от первичного материала. Компьютерная эра дает много новых возможностей, но само время намного

202
больше требует сегодня — абсолютной законченности, чистоты изображения.

— Как находите вы места для съемок и модели? Ищите ли предварительно, либо определяете характер той или иной композиции, того или иного ракурса спонтанно?

— Рисую. Делаю много зарисовок движений тела, различных поз. Нахожу их, наблюдая спортивные соревнования, балет, танец в театре или по телевизору, пантомиму. Движение всегда само по себе прекрасно и выразительно, но оно — не самоцель. Всегда хочется максимально приблизиться к образу, избежав случайного, мимолетного, чтобы получалась не просто фотография, а фотокартина, символ.

Место съемки тоже важно. Всегда избегал чего-то пестрого, следов цивилизации. Мне близки вода, дюны, песок, небо, простор, дымка, туманность... Но есть интерес и к противоположному, застывшему — камню, дереву, растительности, всему, где можно узреть выразительную форму, пластику, структуру. Они часто служат как метафорическое сопровождение, параллельность, иногда — как контраст.

— Наверное, ваш альбом 1987 года «Цветы среди цветов»¹ с обнаженными моделями в этом отношении можно считать очень показательным. Если не ошибаюсь, цикл составивших его фотографий — гимн красоте, который получил признание во многих странах мира, вам пришлось сначала защищать от абсурдных обвинений чуть ли не в порнографии... Ведь в советское время у чиновников представление об искусстве ню было на уровне чудовищно низком, почти нулевом...

— Мне всегда казалось, что снимать ню где-то в домашних условиях, в квартире — это слишком натуралистично, бытово, если не сказать — кощунственно. Природа подарила нашему маленькому краю необыкновенно красивый уголок — Куршскую косу. Это удивительное сочетание залива, дюн, моря и необъятного неба. Очувствовавшись там, трудно описать свое состояние: словно находишься на грани реальности и бесконечности. Это волшебство охватило меня, когда я ступил туда впервые студентом Художественного института,

¹ Изд. «Минтис» («Мысль»), Вильнюс.

203

и не покидает всякий раз, когда там бываю. И меня осенило, что тему ню — как женский образ, как символ и воплощение юности, красоты, зыбкости, нежности — возможно снимать только в этом месте. Возвращаясь в памяти на несколько десятилетий, в 1969 год.

Тогда в Вильнюсе, в республиканском Дворце профсоюзов, состоялась моя первая персональная выставка фотографий. Она провисела всего полтора дня — совершенно неординарный случай для советского времени. На следующий день после открытия выставку приехало осматривать все высшее руководство Литвы со своей свитой — кто-то подсчитал, что номенклатурных черных «Волг» у входа стояло восемь штук. И начальство было в шоке. Они глазам своим не верили, что такое можно выставлять для всеобщего обозрения. А экспонировалось ровно сто моих работ, условно разделенных на четыре темы: ню, природа, этнографические сюжеты (старые деревни, кладбища, литовский народный быт, вильнюсское заброшенное еврейское кладбище на улице Оланду) и чистые декоративные формы. Номенклатурный просмотр длился около часа. Потом стали

выяснять, откуда взялся такой автор, кто он такой вообще, как могло случиться, что такая выставка появилась, кто разрешил ее развешивать и т. п. Директор Дворца ходил весь побелевший от страха перед начальственным гневом, у него тряслись руки. Он оправдывался, что экспозицию организовал местный фотоклуб, ничего с ним не согласовавший...

А я, по молодости и по глупости, никакого страха не чувствовал и в меру своей компетенции еще пытался объяснять, что, мол, ничего крамольного тут нет, что этнография — это наш край, проблески народного творчества в декоративной резьбе старинных хат или на замшелых крестах, и что на фоне достижений социалистического строительства они очень даже экзотически смотрятся. А тема ню (иначе говоря — изображение обнаженного тела) — вещь сама собой разумеющаяся, ведь мы, художники, рисуем картины, скульпторы вырубают из мрамора разные фигуры, так почему в фотографии эта тема не может быть реализована?

Разумеется, доводы какого-то молодого человека никто всерьез не слушал, и в тот же час выставка была закрыта. И даже, как выяснилось позже, был издан тайный приказ по всему Советскому Союзу, чтобы Главлит более внимательно курировал и «литовал», т. е. разрешал к просмотру, любые художественные выставки, пусть даже незначительные, самого безобидного характера. Для меня самого эта неодобренная начальством выставка негативным эхом еще многие годы отзывалась на всех уровнях.

204

— Римантас, ну а теперь немного о вашей живописи...

— Живопись для любого начинающего художника в идеале представляется самым существенным воплощением искусства. Так было и для меня, когда я учился в художественной школе, а потом по совету коллег изучал графику в Академии художеств. Теперь, через много лет, я рад тому, что у меня как бы два равнозначных полюса — живопись и графика. Позже добавилась фотография, но она как хобби, как дополнение к двум первым. Когда возникает какая-то идея, новая мысль, сразу одолевают сомнения: в каком материале она обрела бы максимальное звучание — в живописи, графике, скульптуре? В фотографии — хотя не вырубил ни одной фигуры — я попытался сделать несколько «фотоскульптур». Так получился цикл «Скульптурные видения». Безусловно, автору всегда хочется, чтобы форма не была пустой, чтобы она заключала в себе определенное содержание, идею. И хотя сегодня часто приходится слышать, что хорошая форма уже и есть содержание, этот афоризм, на мой взгляд, справедлив лишь в случаях чистой абстракции.

— Что такое для вас красота?

— О красоте говорить всегда трудно — у каждого свои идеалы, свое понятие, свой опыт. Красота совершенно по-разному воспринимается в искусстве и в жизни. То, что в жизни будет выглядеть и считаться вульгарным и безобразным, в искусстве, как по мановению волшебной палочки, художник может превратить в нечто прекрасное. Может случиться и наоборот. (Яркий тому пример — творчество всемирно известного современного литовского художника Шарунаса Сауки, «прекрасное и ужасное» одновременно.) Красоте можно дать множество определений, и все они будут верны, но ни одно не будет окончательным и всеобъемлющим, а лишь фрагментарным.

Красота — настолько многогранная явление, что, что бы мы о ней ни сказали, все равно описание не будет полным. Кто-то видит

красоту в лице, глазах, кто-то — в помятой физиономии алкоголика, кто-то — в засохшей ветке, цветах и тысячах других проявлений природы. Я в этом каждодневно убеждаюсь. Каждый видит другого на ту глубину, которую имеет сам, так и красоту.

— А красота литовская? Выделяете ли вы ее как-либо среди других красот?

205

— На этот вопрос отвечаю конкретным примером. Когда вышел в свет альбом «Цветы среди цветов», меня множество раз спрашивали: «Кто эти девушки? Из какой страны?» И когда я отвечал, что все они — из Литвы, люди удивлялись и не верили, что весь этот «прекрасный букет собран в одном саду». Истинная литовская красота продолжает дошедшие до нас из глубины веков идеалы, не вытесненные до конца и в наше время — скромность, отсутствие вульгарности в чертах и поступках, длинные косы, никакой косметики, здоровый цвет лица.

— Красота, как мы знаем, не всегда «положительна». Я подумал об этом, когда вы показывали мне страницы своего художественного дневника — подумал в тот момент, когда увидел пронзительную графическую попытку изобразить мученичество и бессмертие гениального литовского поэта Витаутаса Мачерниса... Где же они соприкасаются — Добро и Зло? Жизнь и Смерть? Можно ли вообще найти адекватность таким противоположностям, и — если нет, то — нужно ли искать?

— В самом деле, если быть максимально внимательным и любопытным, можно везде найти парадоксы, когда красота сосуществует или «просачивается» сквозь безобразное, даже трагическое, как бы смягчая боль и страдания. Ведь говорят же: «красивая смерть», «красивый негодяй», «он недостоин этой красоты» и т. п. У Шарля Бодлера есть целый цикл «Цветы зла», и в нем — стихотворение под названием «Падаль», которое один из критиков назвал «перлом безобразного». Оказывается, зло может процветать, да еще как буйно. Бывают и гениальные злодеи — в этом не раз убеждалось наше поколение. А если прислушаться к поэту Игорю Губерману, то он, сам немало пострадавший, предупреждает, что вновь могут пролиться реки крови, «и снова в этом будет виновата великая и светлая идея»¹. Красота это законченность чего-то — вещи, явления, поступка. В искусстве красиво то, что имеет сущность, характер и талантливое воплощение. Художники, писатели, артисты своими скромными усилиями — ведь у них нет ни власти, ни танков, ни оружия — из века в век пытались и пытаются помочь выпрямиться униженному коллективному разуму, выговорить бесстрашную правду, защищая саму жизнь, не боясь, по мысли Есенина, ничьей зуботычины².

¹ Губерман И. Камерные гарики. М.: Эксмо, 2004.

² Есенин С. Песнь о великом походе. 1924.

206

Многих в Литве (с опозданием на двадцать лет!) повергла в скорбь невосполнимая утрата — узнанная правда о гибели нашего талантливейшего поэта Витаутаса Мачерниса. Новость опоздала на двадцать лет потому, что скрывалось, что в действительности он пытался бежать от «красного потока», который еще до войны испытали на себе десятки тысяч безвинных людей: расстрелы, ссылки на край света, за Полярный круг, к морю Лаптевых и в другие «райские уголки» необъятного «братского» Союза. Тогда многие бежали из Литвы на Запад, пытаясь, в меру возможностей, из двух зол выбрать меньшее. И, как показали последующие события, не без основания. После войны вся Литва снова оказалась в ловушке, только другой окраски:

была коричневая, а теперь все пространство накрывала красная. Еще античная мудрость нас всех предупреждала: «Освободителей остерегайтесь не меньше, чем завоевателей».

Видные литературоведы, ученые не раз с большой горечью говорили об огромной трагедии последних месяцев войны, когда летом 1944 года снарядом, выпущенным из танка Т-34 по повозке, ехавшей по пыльной деревенской дороге, был убит этот литературный гений. Осколками снаряда вырвало бок у лошади, а молодому пареньку 23-х лет насквозь пробило голову. И эта окровавленная повозка с волочащимися внутренностями лошади въехала во двор дома, вызвав ужас у всех, кто был рядом. Многие считают, что это была самая большая утрата не только для нашего края и нашей культуры. Вполне возможно, сегодня мир имел бы поэтическое имя не менее яркое, чем имена Шекспира, Данте, Байрона или Пушкина.

О даровании Витаутаса Мачерниса дают представление хотя бы некоторые факты. Он свободно владел семью языками и планировал освоить еще около тридцати, так легко они ему давались. Русский язык за пару месяцев освоил так, что уже читал стихи Фета. Между тем, его единственным учителем был русский летчик, подбитый возле деревни, где жил поэт. Мачернис нашел его в лесу, притащил домой, спрятал у себя в сарае и в основном по ночам они общались, когда Витаутас носил пищу ему и собаке, привязанной к конуре возле сарая. Такое покровительство было очень опасно, ведь совсем рядом проходила линия фронта.

¹ По официальной версии советского времени Витаутас Мачернис (Шарняле, Плунгеский р-н, 1921 — Жамячю-Калвария, 1944) погиб от взрыва бомбы. Даже намек на то, что литовский поэт намеревался бежать на Запад, в тех источниках не было. Об их бегстве вместе с Д. Банионисом и о гибели Мачерниса детально рассказывает известный литовский писатель и искусствовед Томас Сакалаускас в книге «Ночь прозрения» с подзаголовком: Видения и творчество Витаутаса Мачерниса. На литовском яз. Вильнюс, Вага, 1994.

207

Ужасная гибель молодого Мачерниса стала двойной трагедией.

Второй удар состоял в том, что все свое творчество, письма и дневники перед отъездом из родной деревни вместе с Донатасом Банионисом (будущим знаменитым актером) Витаутас закопал в сарае и сказал об этом своей сестре. Но случилось так, что фронт на какое-то время остановился, в хате Мачернисов расположился штаб, а в том сарае, где были закопаны рукописи, устроилась военно-полевая кухня. И вся вода и кухонные помои выплескивались именно туда, где лежали рукописи. Когда фронт отодвинулся на запад, сестра Витаутаса откопала связки бумаг — все было слипшимся, размытым, невозстановимым. Лишь крупницы творчества поэта дошли до нас из его писем к любимой девушке и друзьям.

Наш замечательный поэт Винцас Миколайтис Путинас мечтал, когда окончится война, послать Витаутаса Мачерниса в Париж изучать философию, языки, литературу. Увы, этим планам не суждено было сбыться...

Вот лишь одно краткое стихотворение Мачерниса под названием «Человек», написанное в деревне Гарняле, 15 марта 1943 года — привожу его в дословном переводе:

О Человек, я на земле увидел твои следы.

Скажи мне, кто ты есть, раз хочешь здесь оставить эти знаки?

Быть может, привидение всего лишь, надевшее земные одеянья,

Чтоб, проходя из никуда в ничто,

Заметным стать для прочих привидений?

Закончив «Видения», поэт начал писать новые циклы, которые должны были вырасти в поэтические фрески. «Это страшный и

гигантский труд, который займет лет 30. Если бы я довел до конца этот замысел, стал бы в мире недостижимой крепостью, доходящей до идиотизма, — говорил он другу. — Очень трудно сказать, что это будет, но в нем будет запечатлена вся история человека — от Адама до Тебя, то есть все». «Если бы пропали мои рукописи, я смог бы все восстановить по памяти»¹. — сказал Донатасу Банионису, свидетелю своих последних дней. Но увы — удар судьбы был слишком жесток. Маятник Жизни и Смерти, Добра и Зла постоянно сопровождает нас в жизни. Об этом свидетельствует и вся прежняя история, и наша повседневность. Это не временное явление, а вечный закон.

¹ Мачернис В. Обнаженное сердце человека / Сборник // пред. В. Кубилюса.

Вильнюс: Вага, 1970. Пер. с литовского яз. Р. Дихавичюса; Сборник / Пред. В. Кубилюса. Вильнюс: Вага, 1976. Пер. с литовского яз. Р. Дихавичюса.

208

И сознавая его, мы далеко не всегда крепимся в оптимистическом...

Как писал другой наш прекрасный поэт Юргис Балтрушайтис:

Вся мысль моя — тоска по тайне звездной,

Вся жизнь моя — стояние над бездной.

— Ваша судьба, Римантас, оказалась схожей с судьбой тысяч балтийцев, литовцев, которые в годы советской власти были депортированы в Россию, вернулись на родину с опытом тяжелым, горьким... Тем не менее, насколько я знаю, вы все же не поставили знак равенства между русским народом и режимом, между художником и городовым...

— Моя судьба схожа с судьбами сотен тысяч моих соотечественников. Я был совсем малышом, когда в Литве перед самой войной начались репрессии, расстрелы, ссылки; и после войны — было не лучше. А моя семья угодила в первый послевоенный эшелон 1945 года. Нас взяли ночью — отца, мать, моего слепого дедушку семидесяти лет и меня — семилетнего. Долго — около двух месяцев — везли по разрушенным войной городам и путям в заколоченных вагонах для скота, с остановками на несколько суток, с непонятным маневрированием на железнодорожных путях, везли неведомо куда и зачем. По пути под конвоем отбирали мужчин, чтоб они могли из вокзальных водокачек принести в вагон воды. Изредка давали что-то похожее на хлеб. Такой паек многие не выдержали. Трупы из вагона изымали. Другие угасли, когда нас уже распределяли по бескрайним неведомым лесам. Мать так и не доехала до Тухачевского Леспромхоза в тогдашней Молотовской (теперь Пермской) области. Дедушка умер через месяц. Остались мы с отцом в битком набитом бараке, где люди спали в три этажа: на полу и двухэтажных нарах. С клопами, холодом и голодом. В первые дни всех гнали в тайгу на лесозаготовки. Никто не спрашивал, держал ли ты хоть раз в руках пилу? Зима выдалась холодная и снежная. Смертей было множество. Совсем скоро бараки опустели — на полу уже никто не спал.

Люди не сразу поняли и осознали, где они и что с ним происходит. Оторванность от родного дома, тяжкий нормативный труд действовали удручающе, все свидетельствовало о безвыходном положении участников этих событий, не оправданных никакой логикой. Выживали чудом единицы. Это чудо и меня одарило. Чудом было и то, что я встретил хороших людей, которые помогли мне вернуться

¹ В сб. Ю. Балтрушайтиса «Земные ступени», 1911 г.

209

домой. И дома тоже приютили и обогрели. Говоря «дома», я имею в виду Литву, так как конкретного нашего хозяйства и отчего дома после моего возвращения из ссылки не осталось — все было распаханно под колхозные поля.

Спустя много лет я навестил родные места и встретил местного тракториста, который протянул мне невероятную вещь — покореженную, искривленную, позеленевшую ложку старинной формы с выгравированными на ней инициалами. Говорит: «В прошлом году пахал поле примерно в бывшем вашем хозяйстве и, вернувшись с пахоты домой, увидел, что между гусениц застряло что-то металлическое. Выковырял, смотрю — ложка, интересные буквы видны. Я ее не выбросил, решил тебе показать...» На ложке были инициалы моей матери. Этот подарок судьбы я храню как знак, как эхо безвозвратного прошлого нашей семьи.

В нашем доме есть еще один невероятный экспонат, о котором можно было бы роман написать. А ведь это обыкновенная маникюрная пилка для ногтей, изрядно потертая...

Однажды приходит к нам домой человек и, обращаясь к моей жене, спрашивает: «Вы Валерия Каунайте?» Жена (ее девичья фамилия, действительно, Каунайте), удивленная таким вопросом, все же отвечает положительно. И тогда мужчина, протягивая малюсенький сверток, говорит: «Я пришел вернуть тебе долг». Он сделал это, спустя сорок с лишним лет.

Жена с удивлением взяла сверточек, ничего не зная ни о его содержании, ни о человеке, который этот «долг» возвращает. В свертке оказалась маникюрная пилка, которую когда-то одолжил у Валерии ее одноклассник, а затем сокурсник Генрикаса Виткаускас во время лекции на первом курсе Вильнюсского университета. Затем был перерыв, юноша вышел в коридор, и... больше никто никогда его не видел и ничего о нем не слышал.

Генрикас с улыбкой вновь представился нам и рассказал свою печальную историю 1950-го года. Как в перерыве между лекциями к нему подошли трое мужчин, предложили пройти и посадили в машину. Потом начались бесконечные допросы, пытки, лагеря, ссылка. Спустя многие годы Генрикаса освободили, но без права возвращения в Литву. Позже он женился на польке с похожей лагерной биографией, и оба они уехали в Польшу.

Генрикас рассказывал про невероятные события своей жизни, про голод, унижения, издевательства, а также о том, как он прятал свой «талисман» от надзирателей и посторонних, как эта малюсенькая железка стала единственной вещью с Родины, напоминавшей об

оставленном мире, родных, друзьях, начале учебы в университете...

И в редкие минуты, когда можно было побыть одному, Генрикас вынимал эту пилочку, разговаривал с ней, даже молился...

— Римантас, ваша жена, биографии которой вы коснулись в этом действительно пронзительном эпизоде — как и вы, прекрасный фотохудожник и просто художник-график...

— Бог послал мне прекрасного помощника — жену Валерию, которая много лет работала в Республиканской библиотеке заместителем директора. Кстати, на той службе в Республиканской библиотеке, где она была вторым человеком по рангу, она хоть и могла зайти в один из кабинетов с табличкой «спецфонд», но не имела права взять с полки никакой книги. А другим служащим нельзя было даже зайти, потому что там хранились книги еще довоенных изданий и отобранные у людей из частных собраний, а также в этом «спеце» были скрыты от посетителей тайно изъятые книги из почтовых посылок, которые приходили из-за рубежа от друзей или родственников. Всех книг было по одному экземпляру, дубликаты сжигались.

У нее всегда была четкая система во всем. И она, видя мою беспомощность в моих архивах, где царил полный хаос, однажды сказала: «Я и у тебя наведу порядок». И действительно, много лет свободного времени отдала упорядочению, выделению отдельных тем. Их выкристаллизовалось несколько: этнография (деревни, старинные памятники, кладбища, кресты, народное искусство, человеческие типажи, обряды), природа и пейзаж, событийные, документальные моменты, редкие репортажи. К тому же в архиве оказалось очень много снимков из жизни и творчества коллег-художников: более восьмисот персоналий — их портреты, руки, их мастерские с самыми невероятными деталями и картинами, скульптурами, рабочей творческой средой. Это мне особенно дорого. Этот материал я использую, готовя монографии об этих авторах или календари большого формата о творчестве художников всех жанров — живопись, скульптура, графика, витраж, дизайн, текстиль, фреска...

Валерия, как я успел увидеть за десятилетия совместной жизни, — это просто кладезь талантов. У нее абсолютный слух, в студенческие годы она посещала, по возможности, все оперы, а после могла напеть любую арию. Легко давались ей и языки. Интересным способом она выучила русский: у хозяйки, где она жила во время в учебы в университете, какое-то время прятался от КГБ молодой литовец,

211 хорошо знавший русский. В тайнике у него вынужденно было много свободного времени, и на «Повести о настоящем человеке» этот парень карандашом поверх строчек написал по-литовски весь текст книги. Валерия говорила, что прочтя эту книгу, почувствовала, что может свободно читать и любой другой русский текст. У нее от природы тонкое чувство композиции, ритма, цвета. И в рисунке — смелая, свободная рука. Все ее художественные работы — импровизации без предварительных эскизов. И фотографию она легко освоила. Куда бы мы ни ходили, ни ездили, всегда при нас был фотоаппарат. Однажды появилось возможность променять одну ценную вещь на фотокамеру-«Лейку», с которой Валерия уже несколько десятилетий не расстается. Мне кажется, это был подарок судьбы не только для нее, но и для нашей истории и культуры — ведь Валерия запечатлела множество замечательных людей, ситуаций, социальную среду — и все это с большим вкусом, тонко, просто, убедительно. Она могла бы стать хорошим музыкантом, певицей, врачом. Жаль только, что все эти таланты не смогли полностью раскрыться. Виною тому нелегкое напряженное, замордованное послевоенное время, служба и женская доля, повседневный быт, ведь три четверти хозяйства у нас традиционно лежат на женских плечах. Но несмотря ни на что, Валерия достигла многого. Осенью 2010 года в Литве прошла международная выставка фотографии, где главный приз «Святой Флорион» — «За лучшую коллекцию» — был присвоен Валерии.

— Вернемся к вашему творчеству, Римантас. Мне представляется, что очень много вы как художник (в данном случае я не разделяю фотомастера и живописца) получили в классическом искусстве. Могли бы вы сказать что-то об этом?

— «Каждая встреча с Античностью рождает Ренессанс». Такой эпиграф-афоризм к одному своему стихотворению написал Мацчернис. Эта мысль мне очень близка, и не раз чувством и опытом подтвердилась.

— Помимо творческой работы, Римантас, вы занимаетесь издательским делом. Выпущенные вами альбомы — прекрасны. Кто и по каким критериям попадает в число ваших «избранников»?

— Где бы я ни бывал по делам или в путешествиях, когда встречался с чем-то прекрасным, необычным, всегда переживал, если не

1 Издательство «Жедай» («Цветы»).

212

мог своей радостью ни с кем поделиться. Я встречал замечательных художников, о которых раньше ничего не знал, и у меня всегда возникала мысль: каким образом рассказать о них другим людям, как поделиться ярким творческим явлением? Так родилась календарная серия, названная мною «Талантом и Сердцем», в которую вошли более ста авторов. Позже из этого материала вырос и международный альманах Baltic ART, объединивший художников балтийских стран. Потом появилось несколько солидных монографий о творчестве замечательных художников Литвы: Антанаса Кмеляускаса, Шарунаса Сауки, Гедрюса Казимеренаса и нашего соседа из Белоруссии — виртуоза ного графика Юрия Яковенко, чью книгу я назвал *Linea tagis*. Эти авторы — уникальные явления в сегодняшнем мире искусства.

Вкратце попытаюсь рассказать о них.

Антанас Кмеляускас — представитель старшего поколения. Лауреат разных международных премий. Художник-универсал, успешно работающий в разных сферах: скульптуре, графике, живописи, монументальном искусстве. Он настоящий титан, равных ему трудно было бы найти сегодня в мире. О его невероятной трудоспособности расскажут только цифры. Когда мы заканчивали монографию¹, пришлось приблизительно подсчитать его работы, оказалось: фрески — около полутора тысяч квадратных метров в разных общественных интерьерах, графика — более 800 работ — тематические эстампы, архитектура, символические сюжеты, экслибрисы, выполненные в уникальной авторской технике. Скульптура — более ста десяти скульптурных работ, объемом от нескольких сот килограмм до нескольких тонн, высеченных из мрамора и гранита. Некоторые работы родились в карарском мраморе и остались в Италии по заказу города Гамберале.

Кмеляускаса неоднократно приглашали преподавать в разные академии Европы, поделиться секретами его необыкновенного мастерства. Но этот наш литовский титан в «родное и любимое» советское время много лет прожил буквально с «волчьим билетом», не имея возможности устроиться на работу даже сторожем. К тому же его исключили из Союза художников за скульптуру святого Христофора (небесного покровителя Вильнюса), т. е. за пропаганду религии.

Шарунас Саука — живописец среднего поколения, с чрезвычайно неординарным мышлением. Многие сравнивают его картины с

1 Маркаускайте Н. А. Кмеляускас. Скульптура, фрески, живопись, графика.

Изд. 2-е, доп. Вильнюс: Дайгай, 2003.

213

полотнами Босха и Сальвадора Дали. Но Саука всегда остается самим собой. Многие его обожают, а кто-то не может даже досмотреть до конца его выставки. Книга о нем была признана одним из самых ярких и значительных изданий по современному искусству на Франкфуртской международной книжной ярмарке 2001 года. Его позиции еще больше окрепли. Было много предложений приехать с выставками в разные страны. Саука выставлялся и в Москве, после чего сняли документальный фильм о его творчестве.

Гедрюс Казимеренас — живописец, профессор Академии искусств Литвы. Создал богатейший цикл исторических работ. В наши дни это большая редкость. Сам формат (2,5 x 3 и 2,5 x 9 метров) и огромное мастерство автора вызывают удивление и уважение. К каж-

дой картине автор написал краткий комментарий. В монографию вошли семь картин, отражающих узловые исторические моменты Литовского государства в контексте последнего тысячелетия. Книгу заказала литовская фирма Blue Bridge. А сам автор по-прежнему продолжает работать в исторической теме.

Юрий Яковенко — по своему профессиональному мастерству невероятный художник, один из тех, кто подковывает блох. И делает это с большой фантазией и изяществом, необыкновенно работающий художник — по 12–14 часов может без перерыва корпеть над металлом офорта.

Теперь об альманахе Baltic ART. Я особенно дорожу своей попыткой этого издания международного художественного альманаха Балтийских стран.

Когда рухнул «железный занавес», разделявший «наших» и «не наших», и появилась возможность поехать и многое увидеть, я понял, какие человеческие и творческие явления были скрыты от нас все эти годы — нас обокрали ими, их обокрали нами. И мне пришла в голову мысль показать миру самое лучшее в нашем искусстве, а то прекрасное, что прятали от нас десятилетиями, привезти и показать здесь.

Мне удалось подготовить и издать первый и пока единственный номер альманаха. Когда он вышел из печати, никто не мог поверить, что он родился в Литве, усилиями одного-единственного автора. Было желание издавать Baltic ART регулярно, хотя бы 4 раза в год. Но для этого нужна нормальная редакция, существенные стартовые вло-

¹ Уждавинис А. Ш. Саука. Вильнюс: Дайгай, 2001.

² Г. Казимеренас. История Литвы в живописи / А. Андрияускас. Вильнюс: Blue Bridge, 2009.

214

жения. В нашем литовском парламенте альманах заметили, высоко оценили, было высказано предложение его поддержать и продолжить. Но, как и всегда, благая инициатива угасла: политика и искусство всегда находились на разных полюсах. Так что, к сожалению, Baltic ART остался моей резервной мечтой. Я очень переживал, что не смог его продолжить и помочь духовному и творческому обмену. Ведь каждый народ, каждая страна имеет свои уникальныеклады, свои неповторимые таланты — и это наш общий еще не раскрытый взаимообогащающий потенциал.

Кстати, в первом альманахе Baltic ART я представил и прекраснейшего русского художника, писателя, философа, семьянина, вырастившего пятерых детей, Владимира Гребенникова. Он сам построил дом-терем в народных традициях, живет в Великом Новгороде вместе с семьей, все члены этой семьи — художники, и все — прекрасные. Встреча с таким человеком — всегда событие, счастье, которое становится жизненным камертоном, по которому сверяешь свои дальнейшие мысли и действия. О нем Виктор Астафьев писал: «Ничего умнее и глубже, чем это «Слово», я давно не читал. Много, очень многое из того, о чем мы говорим с горечью и недоумением, что озадачивает нас в современной жизни, ввергает в смутные и тревожные думы и ожидания, решился осмыслить и нам поведать Владимир Гребенников, и поскольку «материал» этот так глубок, горек и высок, что, тронув его, «обожжешься», — я не стану предварять его своими рассуждениями, они, как бы я ни тужился, будут выглядеть плоскими и пустыми в сравнении с тем, что предстоит вам прочесть и пережить вместе с автором»¹.

Как говорят, «Россия мощена талантами», однако эти таланты, к великому сожалению, не всегда востребованы. Раньше по талантам,

мощным вместо булэжника, ездили кареты, теперь «мерседесы» «новых русских». Они красуются сегодня на всех телеэкранах. У любого народа есть разные люди, и черное, и белое.

— В нашей беседе уже была помянута тема трудностей, которые вам пришлось преодолеть как фотохудожнику для публикации альбома «Цветы среди цветов». С тех пор минуло более чем полтора десятилетия. Понятное дело, в наши дни защищать от профанов настоящее искусство с изображениями ню не нужно, однако произошла ли, на ваш взгляд, культурная эволюция в обществе? Воспринимает ли оно красоту так, как хотелось бы художнику, — в данном случае — вам?

¹ В. Астафьев, литературный журнал «День и ночь» № 6 (1996), Красноярск.

215

— Ню — вечная тема в искусстве, пришедшая через века. Изобретение и развитие фотографии дали возможность новыми средствами выразить вечные идеи. Но, так как эта тема в Советском Союзе была под запретом, никакой информации о ней не было. Единственным источником, где изредка печатали фотографии в жанре ню, был журнал «Фотографии ревью», издаваемый в Праге. Достать его было невероятно сложно. Но это была наша единственная «школа», прочие «открытия» приходилось делать самим.

Поэтому спустя десятилетия, когда вышел в свет и был представлен на международной книжной ярмарке в Москве 1987 году мой альбом «Цветы среди цветов», где в первый же день был моментально распродан весь его тираж, один французский издатель спросил: «За всю историю у вас в Союзе не было не одного издания на эту тему, значит, не было никаких традиций. И вдруг появился единственный альбом, сразу вписавшийся и ставший в один ряд с мировыми образцами. Чем можно объяснить такой феномен?» Это и для меня самого был большой вопрос и большой комплимент, ставший затем основанием для повторных изданий «Цветов» в Европе и Москве. Всего вышло 4 издания¹ общим тиражом около 100 тысяч экземпляров. Этот альбом и по сей день пользуется спросом, как только появляется на полках антикварных книжных магазинов.

Почти сразу после московской книжной ярмарки эту книгу пытались заказать китайцы, хотя бы миллион экземпляров — «для узкого круга специалистов». Мол, если «старшему брату» уже можно иметь такую смелую книгу, наверное, можно и остальным социалистическим «братьям»? Но советские руководители отказали, потому что для исполнения «скромного» китайского заказа пришлось бы приостановить печатание всех других изданий...

Альбом имел такой успех, что даже у меня, автора, не было возможности его купить. Из каждого издания я получал лишь по 3 авторских экземпляра. Так происходило потому, что на «черном рынке» книга стоила в семь — десять раз дороже, чем в магазине. Пришлось писать заявление председателю комитета по печати при ЦК КП Литвы, что я отказываюсь от гонорара, но хочу на его сумму получить свою книгу. Начальство наложило на мою просьбу положительную резолюцию.

Московская экспериментальная типография тогда приобрела в Японии новую печатную машину, которая могла одним прогоном печатать сразу две краски (дуплекс). И директор типографии Генрих

¹ В 1987 и трижды в 1990 г.

216

Высоцкий, приехав по каким-то делам в Вильнюс, случайно зашел в издательство «Минтис», где я тогда работал художественным редактором. Он и спросил у нашего начальства, нет ли у них в запасе что-нибудь неординарного, что можно было бы напечатать в Москве

на этой новой машине, чтобы доказать, что не зря ее приобрели. Высоцкому показали несколько готовых макетов, но он сказал, что подобное у них самих имеется. Тогда кто-то из коллег вспомнил, что уже пару лет лежит готовый макет моей книги «Цветы среди цветов». Я моментально на такси съездил домой и привез его. Внимательно просмотрев все выклейки-оригиналы, московский гость сказал: «Такого у нас еще не было, почему бы не попробовать? Ведь идет перестройка...» Я вслух засомневался: «Никто никогда этого печатать не разрешит». На что Высоцкий ответил: «Это уже моя забота. Здеишний Главлит нам не указ. А в Москве, на волне перестройки, думаю, все получится». В общем, через пару недель уже были собраны все необходимые разрешения для печати. Правда, чтоб их получить, пришлось дойти до самого Михаила Сергеевича Горбачева. Просмотрев макет «Цветов», он с улыбкой сказал: «Что человечно, то нам не чуждо».

Эти слова стали зеленым сигналом светофора, и книга очень скоро была напечатана и выставлена на Московской книжной ярмарке 1987 года. Там она была единственным изданием в жанре ню — известно, что такие книги не были разрешены в СССР, их всегда изымали из багажа издателей, если кто-то пытался привезти их на ярмарку. Зато на этот раз в литовском павильоне каждый день царил такое невероятное оживление, что пришлось изъять альбом со стенда и показывать только конкретным издательствам. После такого успеха мне предложили на его основе сделать выставку в галерее Фотоцентра — мол, раз есть разрешение на книгу, это уже как бы автоматически дает разрешение и на выставку. Открытие прошло на высшем уровне. Были председатели Союза журналистов и Союза художников, много представителей иностранных посольств, в том числе США. Выставку планировали экспонировать месяц, но она провисела более трех, потому что уже с утра к ней тянулась очередь, каждый день приходили тысячи зрителей. Потом выставку «катали» по всему Союзу, примерно с таким же кассовым успехом. Таким образом Фотоцентр уладил свои финансовые дела на десять лет вперед. Но когда пришла пора рассчитываться с автором, т. е. со мной (а по предварительному договору вся прибыль

Москва, Гоголевский бульвар, дом 8.

217

от выставки делилась пополам), мне заплатили гонорар в размере... выручки за один день работы экспозиции. И когда я попытался, было искать справедливости где-то повыше, мне ответили: «Мы вам создали мировую славу, а вы тут о каких-то деньгах талдычите. На самом деле — это вы нам должны!»

— Отойдя уже на значительное расстояние от тех сомнительных критериев, которыми определялась эстетика советских времен, не рискует ли культура Литвы (в изобразительном искусстве, во всяком случае) попасть в не менее сомнительные критерии искусства, ориентированного на рынок? Как в целом видите вы состояние дел в современном искусстве Литвы, Балтии? Можно ли вообще сейчас говорить о какой-то такой специфике?

— К сожалению — это происходит. Все движется в сторону наименьшего сопротивления и получения быстрого результата. Раньше художника душила цензура, требование творить в рамках «социалистического реализма», которого никто толком не понимал. Нынче мы освободились от духоты и немоты, из года в год, изо дня в день порождаемых страхом. К нам вернулись естественность и свобода, а естественность рождается только в свободе. К сожалению, мы не

сумели этим достойно воспользоваться. Сейчас всех душат деньги. Но, как и в других правилах, здесь тоже бывают исключения и, к счастью, их немало.

Вильнюс — Париж,
июнь — сентябрь, 2010 г.

218

ОБ АВТОРАХ

Виталий Амурский род. в 1944 году в Москве. Поэт, литератор, профессиональный журналист. Высшее образование (МОПИ и Сорбонна). Более четверти века проработал в русской редакции Международного радио Франции. Автор девяти книг и многочисленных публикаций в периодических изданиях, сборниках и альманахах за рубежом и в самой России. Во Франции с 1973 года.

Анатолий Вайнштейн род. в Новосибирске в 1943 году. После войны жил в Москве. Музыкант по образованию (Московская консерватория — класс виолончели). Более 30 лет работал звукорежиссером на Центральном Телевидении (затем на РТР и ТВ-6). Поэт, композитор, режиссер и сценарист. Неоднократно публиковался как автор стихов, эссе и исследований в области культурологии. Во Франции с 1999 года.

Ирина Володина род. в Ленинграде. После окончания института авиационного приборостроения получила специальность радиоинженера. По второму высшему образованию — психолог. Член Союза журналистов России. Основное направление деятельности — социальная журналистика. Работала в московском издательстве, а также в журналах «Новая занятость» и «Социальное партнерство». В настоящее время живет и работает в Париже.

Ольга Галат род. в 1976 году в Самаре. Окончила факультет театральной режиссуры Самарской Академии Искусств. Увлекается поэтическим творчеством. Во Францию приехала в 2000-м году, занимается организацией русских культурных проектов.

Павел Голушко род. в Минске (Белоруссия) в 1967 г. В литературу пришел из медицины. Участник вышедших в Белоруссии: альманаха «Квартет» (2008 г.), автор книг поэзии и прозы: «Одиночество» (2008 г.), «Когда я вернусь» (2009 г.), «Уходя за горизонт» (2009 г.), «Шведский дневник, или Записки путешественника поэта» (2011 г.). С 2009 года живет в Стокгольме.

219

Марк Казарновский род. в 1933 в Москве. Биолог, кандидат наук. Работал на Дальнем Востоке. Во Франции с 2001 года. Автор нескольких книг. С 2009 года член Союза писателей России. Один из учредителей парижской Ассоциации «Глаголь».

Ольга Кляйн род. в Башкирии в 1950 году. Во Франции с 1984 года. Лицензиат Гренобльского университета. В настоящее время живет в Оверни. Пишет стихи, очерки и рассказы. Сама переводит их на французский язык. Участник поэтических встреч в Париже, Монпелье, Гренобле, Экс-ан-Провансе, организованных русско-французскими ассоциациями. Печаталась в марсельской двуязычной газете «Перспектива» и литературном журнале «Русский хор».

Светлана Кочергина (псевдоним — Алания Брайан) род. во Владивостоке, окончила Санкт-Петербургский институт иностранных языков, несколько лет работала в Москве. В настоящее время живет в Париже, учится искусствоведению в Сорбонне. Лауреат международного конкурса молодых российских поэтов зарубежья под

патронатом княжны Елены Волконской «Ветер Странствий» (2010 г., Италия), международного фестиваля русской поэзии и культуры «Пушкин в Британии» (2011 г., Англия). Регулярно публикуется в изданиях России, Италии и США.

Людмила Ламболез род. в Донецке (Украина), окончила французский факультет Педагогического института иностранных языков им. Крупской в 1996 году, преподавала русский и французский языки, работала репортером, редактором и креативистом информационно-рекламных изданий. В 1998 г. вышел первый сборник рассказов «Часть женичины», поэтическая проза. С 2005 года живет в Париже, занимается дизайном интерьера.

Людмила Лекарпентье род. в Красноярском крае. В 1983 году окончила факультет журналистики Иркутского государственного университета. Работала в СМИ в России и Узбекистане. Во Франции живет с 2000 года. В 2007 году стала соавтором книги на французском языке «Plumes ou chacun son libre arbitre». С августа 2010 года является автором проекта и редактором международного интернет-издания «Les Reflets/Отражения».

220

Виктор Мушинский род. в Москве в 1929 г., доктор юридических наук, профессор. Автор 20 книг, 9 монографий и 11 учебников. Среди монографий — книги о Хосе Марти, Антонио Грамши, о левой альтернативе на Западе. За учебник «Основы правоведения» ему присуждена первая премия международного общества «Знание» за лучшую научно-популярную книгу 1994 года. Автор пьес, поставленных театрами Саратова, Свердловска, Челябинска.

Ольга Назарова род. в Самаре. Окончила медицинский институт. Врач-психоневролог. Во Францию приехала в 1990 году, где сначала выступала певицей в русском кабаре в Париже. Спустя шесть лет вернулась к профессии врача, работает психиатром в госпиталях. В настоящее время — консультант по вопросам психологии. В 1992 г. приняла участие в международном конкурсе на лучший женский рассказ среди русскоязычных авторов, проводимом в Нью-Йорке и Москве. Ее рассказ «Моя богиня» (под псевдонимом Анастасия Волек) отмечен премией жюри и в 1993 г. включен в московский сборник «Чего хочет женичина...» в числе 16 лучших женских рассказов. В 1995 г. в Москве была поставлена пьеса по мотивам этого произведения.

Наташа Оуэн род. в 1952 году в Казахстане. Окончила Минский институт иностранных языков. Работала преподавателем французского языка и переводчиком. С 1989 года живет в Гонолулу, штат Гавайи, США. В 1998 году была удостоена должности — Почетный Генеральный консул Российской Федерации в штате Гавайи, США. Лауреат «Премии Профессия-жизнь» и председатель Совета директоров основанного ею Фонда «Дети России», помогающего детям, страдающим онкологическими заболеваниями. Часто бывает во Франции. Сборник ее рассказов «Кокогут» вышел в Москве (изд. Intelcom-Connect, 2010 г.).

Татьяна Потемкина. Журналист, литератор (книги публикует под псевдонимом Татьяна Королева), работает в Тюмени, в департаменте информационной политики Тюменской области. Несколько раз бывала во Франции, автор повестей «Живущий под кровом Всевышнего» и «...Но любовь из них больше».

221

Вадим Пьянков род. в 1963 году в Краснодаре. После окончания Саратовского театрального училища им. Слонова в 1982 году работал актером в Ижевском драматическом театре им. Карла Маркса, затем в Краснодарском драматическом театре им. Горького. Окончил ВГИК (мастерская С. Ф. Бондарчука и И. К. Скобцевой), снимался в кино. В 1997 году переехал на постоянное жительство в Брюссель. С 2004 года живет в Париже. Поэт, композитор, поэтический переводчик. Записал несколько песенных альбомов в Бельгии и Франции (на русском и французском языках). С 1990 года время выступает с музыкально-поэтическими спектаклями в разных странах Европе.

Алла Сергеева профессиональный преподаватель русского языка как иностранного, кандидат филологических наук, многие годы проработала в МГУ им. М. Ю. Ломоносова, преподавала в вузах Вьетнама, Финляндии, Австрии, Польши и Франции. Автор книг «Русские: стереотипы поведения. Традиции. Ментальность» (Москва, 2004 год — семь переизданий), «Qui sont les Russes?» (Paris-Genève, 2006), «Какие мы, русские? (100 вопросов - 100 ответов» (Москва, 2007 г. - два переиздания), многочисленных публикаций по русскому языку и проблемам современной российской культуры в СМИ Франции и России. В настоящее время живет и работает в Париже. Одна из учредителей парижской Ассоциации «Глаголь».

Владимир Сергеев род. в 1946 г. в Бобруйске (Белоруссия) — один из основателей и президент Ассоциации в поддержку русской культуры во Франции «Глаголь». Филолог по образованию (диплом МГУ), журналист по профессии — многие годы работал в Агентстве печати «Новости» (Москва) и региональным пресс-атташе ЮНЕСКО (Париж). Увлекается переводом французской прозы, в том числе театральных пьес, на русский язык а также поэтическим переводом с французского на русский поэзии, песен и романсов. Французские пьесы в его переводе (М. Камолетти «Бестолочь», Р. Шарт «Мою жену зовут Морис», Жан Пуаре «Переполюх в «Голубятне», А. Ро «Начнем сначала») играют на сценах Москвы и десятка городов России, Украины, Латвии, Узбекистана и Азербайджана. В 2011 г. издан компакт-диск уральской певицы Натальи

222
Киселевой «Etoile d'Amour/Звезда любви» с записью тринадцати известных русских песен и романсов (в том числе на стихи Тургенева, Есенина, Цветаевой и Симонова) в его поэтических переводах на французский язык.

Леся Тышковская род. на Украине. Окончила филфак Киевского университета им. Тараса Шевченко. Кандидат филологических наук (диссертация «Мифопоэтика Марины Цветаевой»). Член Союза писателей Украины. Автор семи поэтических сборников и публикаций в различных антологиях. Помимо того, актриса театра и кино. В настоящее время живет во Франции.

Рудольф Фурман. Род. в 1940 году. Коренной петербуржец. По образованию врач-эпидемиолог, канд. мед. наук. В США — с 1998 года. С 1999 по 2003 — отв. секретарь в редакции «Слово-Word», с августа 2003 года — редактор и дизайнер в издательстве «MIR COLLECTION», с 2006 года — редактор-дизайнер старейшего литературного журнала Русского Зарубежья «Новый Журнал». Автор пяти книг стихов: «Времена жизни или древо души» (1994), «Парижские мотивы» (1997), «Два знака жизни» (2000), «И этот век не мой» (2004) и книги лирики

«Человек дождя» (2008). Публикации в США в литературном ежегоднике «Побережье» и альманахе «Встречи» и журнале «Гостиная» (Филадельфия), в нью-йоркских журналах «Новый Журнал», «Слово-Word», «Время и место», в чикагском «Шоломе», в Германии — в «Мостах» и «Литературном европейце» (Франкфурт-на Майне), в России — в «Неве» (Петербург), «Дни и ночи» (Красноярск), в Украине «АВЕ», «Южный город» (Одесса), в сборниках «Неразведенные мосты» (С.-Петербург), «Нам не дано предугадать...», «Времени голоса», в альманахе «Клуб поэтов» (Нью-Йорк), в интернетных журналах «45-ая параллель», «Средний Запад», «Панорама», «Связь времен» и др. Выступления на нью-йоркских радиостанциях «Надежда» и «Давидзон» и в передаче «Литературный перекресток» русской редакции радио Франции. Лауреат первой премии международного пушкинского поэтического конкурса 2000 года.

Игорь Шпынов. Род. в 1952 году. Профессиональный дипломат, работал в западноевропейских странах, эксперт по проблематике Франции и ЮНЕСКО. Участвовал в разработке Всемирной декларации

ЮНЕСКО о культурном разнообразии. С октября 2005 года является директором Российского центра науки и культуры в Париже. Увлекается поэзией и авторской песней. Автор музыки к ряду кукольных спектаклей, идущих в театрах России, а также к документальным фильмам. Участник некоторых выставок и фестивалей живописи, состоявшихся в Москве, Париже и Флоренции.

ISBN 9785995001904

9 785995 001904

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ № 3

Художественное оформление А. П. Зарубин

Компьютерная верстка И. В. Белюсенко

Корректор С. А. Мозалева

Издательство «Кучково поле»

123022 г. Москва, ул. Красная Пресня, 28, оф. 554.

Тел./факс: (499) 255 93 49; (499) 255 96 22.

E-mail: kuchkovopole@mail.ru

www.kpole.ru__